

АНТИНОМИИ



yearbook.uran.ru/
ifp.uran.ru/ezh/about/

2020

Том 20
Выпуск 4

Владимир Лобовиков

Логика знания и алгебра
формальной аксиологии...

Салават Муртазин

Проблема другого сознания:
угроза скептицизма и возможные
пути ее преодоления (на примере
концепций Саймона Глендиннинга
и Фредерика Олафсона)

Роман Платонов

Моральная универсальность
в этике классического
утилитаризма (Иеремия Бентам,
Джон Стюарт Милль)

Евгения Вахрушева

Правосудие переходного
периода как концепт и практика:
политологический анализ

Юрий Василенко

Образ «врага»
в политическом дискурсе
зарождающегося испанского
консерватизма

Руслан Рааб

Правопонимание Фридриха
Августа фон Хайека: между
либеральной идеологией и
социальной теорией

Мира Таршева,
Наталья Толкунова

Становление института медиации в
России и за рубежом

Павел Сёмин,
Юлия Киль,
Валерия Синицына

Дублирование и оригинальность
при установлении региональных
категорий особо охраняемых
природных территорий в России

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
Уральского отделения
Российской академии наук

АНТИНОМИИ

Том 20

Выпуск 4

Екатеринбург – 2020

Главный редактор

Виктор РУДЕНКО, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), академик РАН, д-р юрид. наук, проф.

Редакционная коллегия

Философия:

Хоакин Х. АЛАРКОН, проф. Университета г. Мурсии (Мурсия, Испания), д-р философии; **Владимир ДИЕВ**, директор Института философии и права Новосибирского государственного университета (Новосибирск, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Юрий ЕРШОВ**, зав. кафедрой философии и политологии Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Владислав ЛЕКТОРСКИЙ**, главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва, Россия, председатель), академик РАН, д-р филос. наук, проф.; **Михаил МАЛЫШЕВ**, проф. Автономного университета штата Мехико (Толука, Мексика); **Шон САЙЕРС**, почетный проф. философии Кентского университета (Кент, Великобритания); **Елена СТЕПАНОВА**, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук; **Елена ТРУБИНА**, проф. Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук; **Ань ЦИНЯНЬ**, проф. философии Народного университета Китая (Пекин, КНР).

Политическая наука:

Ольга МАЛИНОВА, проф. МГИМО-Университета, (Москва, Россия) д-р филос. наук, проф.; **Виктор МАРТЯНОВ**, врио директора Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. полит. наук, доц.; **Петр ПАНОВ**, главный научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (Пермь, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Юрий ПИВОВАРОВ**, научный руководитель ИНИОН РАН (Москва, Россия), академик РАН, д-р полит. наук, проф.; **Ольга ПОПОВА**, зав. кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Сергей ПОЦЕЛУЕВ**, проф. кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия), д-р полит. наук; **Томас РЕМИНГТОН**, проф. политологии Университета Эмори (Атланта, США), д-р политологии; **Камерон РОСС**, проф. политических наук Университета Данди (Данди, Великобритания), д-р философии; **Ольга РУСАКОВА**, зав. отделом философии Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Ричард САКВА**, проф. Кентского университета (Кент, Великобритания), д-р философии; **Саския САССЕН**, проф. социологии Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), д-р философии; **Кароль СИГМАН**, сотрудник Института политических и социальных исследований Национального центра научных исследований, д-р политологии (Париж, Франция).

Право:

Алексей АВТОНОМОВ, директор Центра сравнительного права НИУ – Высшая школа экономики (Москва, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Олег ЗАЗНАЕВ**, зав. кафедрой политологии Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Михаил КАЗАНЦЕВ**, зав. отделом права Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Сергей КОДАН**, проф. Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Александр КОКОТОВ**, судья Конституционного суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Павел КРАШЕНИННИКОВ**, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (Москва, Россия), д. юрид. наук, проф.; **Валентина РУДЕНКО**, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. юрид. наук; **Арmando СЕРОЛО ДУРАН**, проф. Университета г. Сан-Пабло (Сан-Пабло, Испания) д-р права, д-р полит. наук; **Наталья ФИЛИППОВА**, зав. кафедрой государственного и муниципального права Сургутского государственного университета (Сургут, Россия), д-р юрид. наук.

Журнал с 2011 г. включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), «КиберЛенинку», базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (RSCI), а также входит в международные базы данных EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; Open Academic Journals Index (OAJI); International Impact Factor Services (IIFS).

Учредитель и издатель

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук

Журнал издается с 1999 года. В 1999–2018 годы выходил под названием «Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук». С 2019 года журнал издается под названием «Антиномии». Подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России». Т. 1. «Газеты и журналы» 43669.

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средств массовой информации

ПИ № ФС77-75331 от 05 апреля 2019 г.

ISSN 2686-7206 (Print); ISSN 2686-925X (Online)

Адрес учредителя, издателя и редакции: 620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

Тел./факс: 7 (343) 374-33-55. E-mail: admin@instlaw.uran.ru

Интернет-сайт журнала: <http://yearbook.uran.ru>



Статьи распространяются на основе публичной лицензии Creative Commons

INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

ANTINOMIES

Volume 20

Issue 4

Yekaterinburg 2020

Editor-in-Chief

Viktor RUDENKO – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia).

Editorial Board

Philosophy

Joaquin H. ALARCON – University of Murcia (Murcia, Spain); **Vladimir DIYEV** – Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia); **Yuri ERSHOV** – Ural Institute of Management - Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Yekaterinburg, Russia); **Vladislav LEKTORSKY** – Institute of Philosophy, the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); **Mikhail MALYSHEV** – Autonomous University of Mexico (Toluca, Mexico); **Sean SAYERS** – University of Kent (Kent, Great Britain); **Elena STEPANOVA** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Elena TRUBINA** – Ural Federal University (Yekaterinburg, Russia); **An QINIAN** – Renmin University of China (Beijing, China).

Political Science

Olga MALINOVA – MGIMO University (Moscow, Russia); **Viktor MARTYANOV** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Petr PANOV** – Perm Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Perm, Russia); **Yuri PIVOVAROV** – Institute of Scientific Information on Social Sciences, the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); **Olga POPOVA** – Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia); **Sergey POCELUEV** – Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia); **Thomas REMINGTON** – Emory University (Atlanta, USA); **Cameron ROSS** – University of Dundee (Dundee, UK); **Olga RUSAKOVA** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Richard SAKWA** – University of Kent (Kent, UK); **Saskia SASSEN** – Columbia University (New York, USA); **Carole SIGMAN** – Institute for Humanities and Social Sciences, National Center for Scientific Research (Paris, France).

Law

Alexei AVTONOMOV – Center for Comparative Law, Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Oleg ZAZNAEV** – Kazan Federal University (Kazan, Russia); **Mikhail KAZANTSEV** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Sergey KODAN** – Ural State Law University (Yekaterinburg, Russia); **Alexander KOKOTOV** – Constitutional Court of the Russian Federation (St. Petersburg, Russia); **Pavel KRASHENINNIKOV** – State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation (Moscow, Russia); **Valentina RUDENKO** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Armando ZEROLO DURAN** – University of San Pablo (San Pablo, Spain); **Natalia FILIPOVA** – Surgut State University (Surgut, Russia).

Since 2011, the journal is included into the List of leading research journals for publication of scientific results of doctorate theses. It is indexed and referenced in RSCI, Ulrich's Periodicals Directory; Open Academic Journals Index (OAJI); International Impact Factor Services (IIFS); it is included to the RSCI database on the Web of Science platform.

Founder and Publisher:

Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.

The journal is published since 1999. In 1999–2018 it was published under the title "Research Yearbook, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences". Since 2019, the journal is published under the title "Antinomies". Subscription index in the United catalog "Press of Russia". Vol. 1. "Newspapers and Journals" 43669.

Registered as the periodical journal by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications.

(The Certificate of Registration ПИ № ФС77-75331, April 05, 2019)

ISSN 2686-7206 (Print); ISSN 2686-925X (Online)

Contacts: S. Kovalevskaya st., 16, Yekaterinburg, Russia, 620137.

Tel/fax: 7 (343) 374-33-55. E-mail: admin@instlaw.uran.ru

Web-site: <http://yearbook.uran.ru>



The articles are distributed under a Creative Commons public license

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ

- Lobovikov V.O.** Knowledge Logic and Algebra of Formal Axiology: a Formal Axiomatic Epistemology Theory Sigma Used for Precise Defining the Exotic Condition Under Which Hume-and-Moore Doctrine of Logically Unbridgeable Gap Between Statements of Being and Statements of Value is Falsified7
- Муртазин С.Р.** Проблема другого сознания: угроза скептицизма и возможные пути ее преодоления (на примере концепций Саймона Глендиннинга и Фредерика Олафсона)24
- Платонов Р.С.** Моральная универсальность в этике классического утилитаризма (Иеремия Бентам, Джон Стюарт Милль)45

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА

- Вахрушева Е.А.** Правосудие переходного периода как концепт и практика: политологический анализ65
- Василенко Ю.В.** Образ «врага» в политическом дискурсе зарождающегося испанского консерватизма82

ПРАВО

- Рааб Р.С.** Правопонимание Фридриха Августа фон Хайека: между либеральной идеологией и социальной теорией 101
- Таршева М.Н., Толкунова Н.Н.** Становление института медиации в России и за рубежом 124
- Сёмин П.О., Киль Ю.Э., Сеницына В.А.** Дублирование и оригинальность при установлении региональных категорий особо охраняемых природных территорий в России 143

C O N T E N T S

PHILOSOPHY

- Lobovikov V.O.** Knowledge Logic and Algebra of Formal Axiology:
a Formal Axiomatic Epistemology Theory Sigma Used
for Precise Defining the Exotic Condition Under Which
Hume-and-Moore Doctrine of Logically Unbridgeable Gap Between
Statements of Being and Statements of Value is Falsified7
- S. Murtazin.** The Problem of Other Minds: “Threat of Skepticism”
and Possible Ways to Overcome it (on the Example
of Simon Glendinning and Frederic Olafson’s Concepts)22
- R. Platonov.** Moral Universality in the Ethics of Classical Utilitarianism
(Jeremy Bentham, John Stuard Mill)45

POLITICAL SCIENCE

- E. Vakhrusheva.** Transitional Justice as a Concept and Practice
Through the Prism of Political Science65
- Yu. Vasilenko.** The Image of the “Enemy” in Political Discourse
of Nascent Spanish Conservatism82

LAW

- R. Raab.** Friedrich August von Hayek’s Conception of Law:
Between Liberal Ideology and Social Theory101
- M. Tarsheva, N. Tolkunova.** Formation of the Institution of Mediation
in Russia and Abroad142
- P. Syomin, J. Kiel, V. Sinitsina.** Duplication and Originality
in Establishing Regional Categories of Specially Protected
Natural Territories in Russia143

ФИЛОСОФИЯ PHILOSOPHY



Lobovikov V.O. Knowledge Logic and Algebra of Formal Axiology: a Formal Axiomatic Epistemology Theory Sigma Used for Precise Defining the Exotic Condition Under Which Hume-and-Moore Doctrine of Logically Unbridgeable Gap Between Statements of Being and Statements of Value is Falsified. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10401 // Антиномии. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 7–23.

УДК 16:17:51-7:510.687:510.82:512

DOI 10.24411/2686-7206-2020-10401

**Логика знания
и алгебра формальной аксиологии:
некая формальная аксиоматическая
теория эпистемологии Сигма,
используемая для точного определения
того экзотического условия,
при котором доктрина Юма и Мура
о логически непреодолимой пропасти
между суждениями о бытии и суждениями
о ценности фальсифицируется**

Владимир Олегович Лобовиков

доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник отдела права
Института философии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия.



© Лобовиков В.О., 2020

E-mail: vlovikov@mail.ru
ORCID: 0000-0001-8760-0452
ResearcherID: K-4188-2018
SPIN-код: 3994-4289

Статья поступила 16.12.2019, принята к печати 29.02.2020,
доступна online 11.01.2021

Впервые в формальной аксиоматической теории знания Сигма формально доказана теорема, означающая (в предложенной точно определенной интерпретации), что, при условии априорности знания, утверждение формально-аксиологической эквивалентности моральных ценностных функций логически эквивалентно утверждению логической эквивалентности соответствующих утверждений о бытии. Впервые продемонстрировано, что эта теорема отрицает универсальность упомянутой концепции Юма и Мура. Дано точное определение упомянутой формальной аксиоматической теории Сигма, являющейся результатом логической формализации универсальной философской эпистемологии; а также предложена некая релевантная интерпретация этой формальной теории. Представленное формальное доказательство вышеупомянутой теоремы может быть проверено читателями шаг за шагом, так как оно построено в соответствии со стандартами формализма (в обосновании математики).

Ключевые слова: формальная-аксиоматическая-теория-знания, знание-а-приори, двузначная-алгебра-формальной-аксиологии, формально-аксиологическая-эквивалентность, моральная-ценностная-функция, гильотина-Юма, натуралистические-ошибки-в-этике, дуализм-факта-и-ценности.

Although the dogma of a fact-value dichotomy has long held sway in scientific and philosophical discourse and practice, it has been called into question by some of our most eminent thinkers: to name but a few, Charles S. Peirce, William James, F. C. S. Schiller, John Dewey, C. I. Lewis, Iris Murdoch, Philippa Foot, Donald Davidson, Hilary Putnam, Ruth Anna Putnam, Richard Rorty, and John McDowell, all of whom helped show how the assumed heterogeneity of descriptive and evaluative considerations and judgments seriously misrepresents the nature and operation of both.

(Giancarlo Marchetti and Sarin Marchetti 2017)

1. Introduction: the dichotomy between statements of being and statements of value. According to Adler (Adler 1981), the strict separation of facts and values is one of the six great philosophical ideas created by the Western-world philosophy. According to Putnam (Putnam 1981: 127-128), unfortunately, in contemporary philosophy the absolute (unconditioned) dichotomy of facts and values has become a “cultural *institution*”. Initially this *institution* (the social norm of/for philosophizing of being and value) was established by “Principia Ethica” (Moore 1903) which was a manifest proclamation of the institution in question. Although some important prerequisites for establishing the institution of logically unbridgeable gap between corresponding statements of being and statements of value existed in previous times, especially in writings by Hume (Hume 1874; 1994; 1998),

the absolute separation as a perfectly universal unconditioned principle was formulated manifestly by Moore. Since the beginning of XX century to nowadays, plenty of respectable philosophers have elaborated his conception with enthusiasm and have developed it consistently to its logical end. However, there were also eminent opponents of the dualism in history of philosophy, for example, Dewey (Dewey 1903; 1929; 1938; 1939). He was not the only criticizer of fact/value dichotomy. Another well-known resolute criticizer of the dichotomy was Putnam who believed that the extremist-minded adherents of absolute separation between statements of being and statements of value had arrived to an absurdity which contained a danger for philosophy and methodology of science (Putnam 1981: 127-1149, 201-217). Putnam has argued that there is an essential linkage (a necessary relationship) between facts and values: the fact/value dichotomy has collapsed (Putnam 1981; 2002; 2004; 2015; 2017). Hence, conjunction of relevant Moore's and Putnam's statements looks like a logical contradiction. This makes the hard problem to be discussed, formalized, and investigated by means of symbolic logic machinery with a view for an acceptable solution below in the present article. Thus, I accept the invitation to attempt somehow to overcome the dichotomy dogma which (invitation) has been proclaimed in the preface to the very interesting book edited by G. Marchetti and S. Marchetti (Marchetti G., Marchetti S. 2017).

The literature relevant to the theme is huge; for instance, writings by Adler (Adler 1981); Ayer (Ayer 1952; 1954); Lewis (Lewis 1946); MacIntyre (MacIntyre 1981); Mackie (Mackie 1946; 1977); G. Marchetti and S. Marchetti (Marchetti G., Marchetti S. 2017); Russell (Russell 1914; 1918; 1940; 1948; 1997); Schiller (Schiller 1903); Stevenson (Stevenson 1937; 1944; 1963); Weber (Weber 2017), etc., not homogeneous, and sometimes even contradictory. Therefore, for the sake of convenience and simplicity, let us divide the huge material into three categories. Let the first category of writings be composed by the works of adherents of the absolute separation between statements of being and statements of value as a *general principle possessing no limitations*, i.e. as a *not-falsifiable universal dualism* statement. Let us call authors of these writings the *absolute (unconditional) separatists*. In my opinion, the first category may be exemplified by Adler (Adler 1981), Ayer (Ayer 1952; 1954), Carnap (Carnap 1931; 1956), Moore (Moore 1903), Russell (Russell 1914; 1918; 1940; 1948; 1997), Schlick (Schlick 1974; 1978; 1979), Stevenson (Stevenson 1937; 1944; 1963), and Wittgenstein (Wittgenstein 1992). The second category of writings is composed by the works of those authors whose relevant statements are *contrary* to the first category ones. Let us call them the *absolute anti-separatists* insisting upon existence of necessary relationship (essential entanglement) or deep intertwinement between corresponding statements of being and statements of value as a *general principle possessing no limitations*, i.e. as a *not-falsifiable universal anti-dualism* principle. In my opinion, the second category may be exemplified by although not reduced to Dewey (Dewey 1903; 1929; 1938; 1939), Morris (Morris 1963), Schiller (Schiller 1903), and Putnam (Putnam

1981; 2002; 2004; 2015; 2017). I think that the above-mentioned two allegedly not-falsifiable universal principles (the *absolute* dualism and the *absolute* anti-dualism) are in *contrariety* relation to each other: they cannot be both true, but they can be both false. Therefore, now it is worth attracting attention to the third option of logical relationship between corresponding statements of being and statements of value, namely, the option of both: (A) there is a *limited* logic-unity (*conditioned* logic-equivalence) between corresponding statements of being and statements of value; (B) there is a *limited* logic-separation (*conditioned* logic-non-equivalence) between them. Affirming the conjunction of (A) and (B) means that both the dualism and the anti-dualism are not absolutely universal but falsifiable; they are *relatively* (*conditionally*) universal. Domains of validity of both the dualism and the anti-dualism are not completely infinite but quite definite. Moreover, in principle, it is possible precisely to define *the exotic* (*rare*) concrete *condition* under which (A) takes place, but (B) does not take place. Also, in principle, it is possible precisely to define the *usual* (*habitual*) concrete *condition* under which (B) takes place, but (A) does not take place. The above-indicated third option of logical relationship between corresponding statements of being and statements of value is to be investigated in the present paper.

Concerning the contemporary literature on the theme, I would like to make the following critical remarks. Being formulated *in general*, the non-trivial fundamental problem under investigation is the one of existence of logical connection between corresponding statements of *being* and statements of *value*. However, there is a strong tendency completely to *reduce* the *general* formulation of the problem to its *special particular* case, namely, to the problem of existence of logical connection between corresponding *facts* and *values* (evaluations). Thus, meanings of “fact” and “being” are identified completely (are used as synonyms). I think that, generally speaking, such identifying “fact” and “being” is not valid. In this paper I shall abstain from such identifying. In history of philosophy there is an intellectually respectable tradition to define *facts* as *contingent* truths or *contingent* events. This tradition may be exemplified by Leibniz (Leibniz 1903; 1952; 1969; 1971; 1981) and Carnap (Carnap 1931; 1956). I shall follow this tradition in the present paper. Also, I shall follow the negative attitude to the two dogmas of empiricism which (attitude) has been developed by Quine (Quine 1980).

Another critical remark: Being formulated *in general*, the above-raised nontrivial fundamental problem deals with *values* (or statements of *value*). Values are either absolute or relative. Statements of positive value (goodness) are either *contingently* positive or *necessarily* positive (*absolute* goodness). Is there an *absolute* (*necessary*) good? As a rule, logical positivists resolutely answered this question negatively: Russel (Russel 1914; 1918; 1940; 1948; 1997) and Mackie (Mackie 1946; 1977) are representative examples. Thus, in the philosophical empiricism, meanings of “value” and “relative (contingent) value” are identified completely (are used as synonyms) either subconsciously or deliberately. I think that generally speaking, such iden-

tifying “value” and “relative (contingent) value” is not valid. In this paper I shall abstain from such identifying.

However, it is the fact that within the *empirical* philosophy of values, which (philosophy) dominates in the contemporary literature on the theme, evaluations are considered as statements of *contingent (relative)* values. If the *general* formulation of the problem is completely reduced to the *particular* case, then, I think that Hume, Russell, Moore, and Wittgenstein are right: there are no necessary logical relations between facts (=contingently true statements of *contingent* events) and *contingently* true statements of *contingent* (not absolute but *relative*) values of these events.

However, in my opinion, the mentioned complete reduction of the problem to its particular case is not acceptable from the perfect theoretical philosophy viewpoint because there is another also very important special particular case of the problem, namely, the nontrivial problem of existence of necessary logical connection between corresponding statements of *necessary* being and statements of *necessarily* positive value (*absolute* goodness). *Empiricist*-minded philosophers have *ignored* this very important problem *on principle*. I believe that such ignoring is a defective (one-sided) attitude. The relevant views of *rationalist*-minded philosophers dealing with *a-priori* knowledge, for instance, the relevant *rationalistic* ideas by Descartes (Descartes 1994a; 1994b) and Leibniz (Leibniz 1903; 1952; 1969; 1971; 1981) must be taken into an account. The philosophical theology, especially the *theodicy* by Leibniz (Leibniz 1952), is also quite relevant to the case as it deals with *necessary logical connecting the necessary being with the necessary goodness*.

To eliminate the above-indicated defect, below in this article I am to develop a *synthetic (two-sided)* attitude to the problem by using such a formal axiomatic epistemology theory Σ , which *unites* consistently the *contrary* paradigms of empiricism and a-priori-ism. As the problem is very difficult, I shall divide it into two parts and attack the parts separately one after another. This is an effective strategy deliberately used by politicians, military-men and mathematicians.

First of all, I am to criticize Moore’s idea of absolutely universal (unconditional) logical dichotomy between corresponding statements of being and statements of value. I am to do this by deliberate inventing (intentional constructing) a counter-example falsifying Moore’s conception. Such criticizing Moore’s allegedly universal doctrine of naturalistic fallacies in ethics is a significant novelty: the *deductive* logic apparatus exploited for falsifying the doctrine of Moore in this article differs much from the *inductive* logic methods used by the overwhelming majority of his opponents hitherto. I mean systematical exploiting (1) two-valued algebra of formal ethics as formal axiology (Lobovikov 1980; 1984; 1988; 1999; 2014; 2018a; 2019) and (2) a formal axiomatic epistemology theory Σ (Sigma) to be precisely defined below in the present article. Hereafter the terms “proof” and “theorem” are used in those special meanings which have been defined precisely in XX century mathematical logic by the formalists (Weir 2019). Namely, by

definition, a proof of a formula as a theorem in an axiomatic theory is such a finite succession of formulae of the theory, in which succession: 1) the theorem is the last formula of the succession; 2) any formula belonging to the succession is either an axiom of the theory; or a formula obtained from previous formulae of the succession by an inference-rule of the theory. Originally, an attempt to criticize Moore's doctrine of the naturalistic fallacies in ethics by exploiting formal-deductive-inference construction in a formal axiomatic epistemology theory was undertaken by Lobovikov (Lobovikov 2017). However, the attempt was accomplished within not Σ but another formal axiomatic epistemology theory, and the theorem formally proved by Lobovikov (Lobovikov 2017) differs significantly from the one formally proved in the present article.

Within the formal axiomatic epistemology theory Σ , below a *formal deductive proof of formula-scheme* $(A\alpha \supset ((t_i = + = t_k) \leftrightarrow ([t_i] \leftrightarrow [t_k])))$ as a *theorem-scheme* (in Σ) is constructed for the first time. According to that semantics of the artificial language of formal theory Σ , which (semantics) is defined precisely below in this article, the theorem-scheme $(A\alpha \supset ((t_i = + = t_k) \leftrightarrow ([t_i] \leftrightarrow [t_k])))$ represents (in Σ) the above promised precise definition of the exotic condition under which the theory of Moore is falsified.

According to the below-given interpretation of Σ , the formula $A\alpha$ represents the *assumption of a-priori-ness of knowledge*. In the interpretation under discussion, " \supset " is "classical (material) implication". Formally to prove that $(A\alpha \supset ((t_i = + = t_k) \leftrightarrow ([t_i] \leftrightarrow [t_k])))$ is a theorem-scheme in Σ , and attentively to examine the formal proof, it is indispensable to have exact definitions of the terms involved into the discourse. Therefore, let us start with submitting precise definitions of the notions relevant to the case.

2. Precisely Defining the Formal Axiomatic Epistemology Theory

Σ . The present paragraph of this paper is targeted at making the reader acquainted with the formal axiomatic epistemology theory Σ which is a result of developing further (complementing substantially) the axiomatic epistemology system Ξ originally submitted by Lobovikov (Lobovikov 2018b).

According to the definition, the logically formalized axiomatic epistemology system Ξ contains all symbols (of the alphabet), expressions, formulae, axioms, and inference-rules of the formal axiomatic epistemology theory Ξ (Lobovikov 2018b) which is based on the classical propositional logic. But in Σ several significant aspects are added to the formal theory Ξ . In result of these additions the alphabet of Σ 's object-language is defined as follows:

- 1) Small Latin letters q, p, d (and the same letters possessing lower number indexes) are symbols belonging to the alphabet of object-language of Σ ; they are called "*propositional letters*". *Not all small Latin letters are propositional ones* in the alphabet of Σ 's object-language, as, by this definition, small Latin letters belonging to the set {g, b, e, n, x, y, z, t} are excluded from the set of *propositional letters*.

2) Logic symbols \neg , \supset , \leftrightarrow , $\&$, \vee called “classical negation”, “material implication”, “equivalence”, “conjunction”, “not-excluding disjunction”, respectively, are symbols belonging to Σ ’s object-language alphabet.

3) Elements of the set of modality-symbols $\{\square, K, A, E, S, T, F, P, Z, G, W, O, B, U, Y\}$ belong to Σ ’s object-language alphabet.

4) Technical symbols “(” and “)” (“round brackets”) belong to Σ ’s object-language alphabet. The round brackets are exploited in this paper as usually in symbolic logic.

5) Small Latin letters x, y, z (and the same letters possessing lower number indexes) are symbols belonging to Σ ’s object-language-alphabet (they are called “axiological variables”).

6) Small Latin letters “g” and “b” called *axiological constants* belong to the alphabet of object-language of Σ .

7) The following not-indexed capital Latin letters – L, V, I, D, J, N, and the capital Latin letters possessing number indexes – $K^2, W^2, A^2, A_k^n, B_i^n, C_i^n, D_m^n, \dots$ belong to the object-language-alphabet of Σ (they are called “*axiological-value-functional symbols*”). The upper number index n informs that the indexed symbol is n -placed one. Nonbeing of the upper number index informs that the symbol is determined by one axiological variable. The value-functional symbols may have no lower number index. If lower number indexes are different, then the indexed functional symbols are different ones.

8) Symbols “[” and “]” (“square brackets”) also belong to the object-language-alphabet of Σ , but in this theory they are exploited in an very *unusual* way. Although, from the psychological viewpoint, square brackets and round ones look approximately identical and are used very often as synonyms, in the present article they have *qualitatively different* meanings (roles): exploiting round brackets is purely technical as usually in symbolic logic; square-bracketing has an *ontological* meaning which is to be defined below while dealing with *semantic* aspect of Σ . Moreover, even at syntax level of Σ ’s object-language, being not purely technical symbols, square brackets *play a very important role* in the below-given definition of the general notion “formula of Σ ” and in the below-given formulations of some axiom-schemes of Σ .

9) An unusual artificial symbol “=+=” called “*formal-axiological equivalence*” belongs to the alphabet of object-language of Σ . The symbol “=+=” also *plays a very important role* in the below-given definition of the general notion “formula of Σ ” and in the below-given formulations of some axiom-schemes of Σ .

10) A symbol belongs to the alphabet of object-language of Σ , if and only if this is so owing to the above-given items 1) – 9) of the present definition.

A finite succession of symbols is called an *expression* in the object-language of Σ , if and only if this succession contains such and only such sym-

bols which belong to the above-defined alphabet of Σ 's object-language.

Now let us define precisely the general notion "term of Σ ":

1) the *axiological variables* (from the above-defined alphabet) are terms of Σ ;

2) the *axiological constants* belonging to the alphabet of Σ , are terms of Σ ;

3) If Φ_k^n is an *n-placed axiological-value-functional symbol* from the above-defined alphabet of Σ , and t_1, \dots, t_n are *terms* (of Σ), then $\Phi_k^n t_1, \dots, t_n$ is a term (compound one) of Σ (here it is worth remarking that symbols t_1, \dots, t_n belong to the meta-language, as they stand for *any* terms of Σ ; the analogous remark may be made in relation to the symbol Φ_k^n which also belongs to the meta-language);

4) An expression in object-language of Σ is a term of Σ , if and only if this is so owing to the above-given items 1) – 3) of the present definition.

Now let us make an agreement that in the present paper, small Greek letters α , β , and γ (belonging to meta-language) stand for *any* formulae of Σ . By means of this agreement the general notion "formulae of Σ " is defined precisely as follows.

1) All the above-mentioned propositional letters are formulae of Σ .

2) If α and β are formulae of Σ , then all such expressions of the object-language of Σ , which possess logic forms $\neg\alpha$, $(\alpha \supset \beta)$, $(\alpha \leftrightarrow \beta)$, $(\alpha \& \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, are formulae of Σ as well.

3) If t_i and t_k are terms of Σ , then $(t_i =+ t_k)$ is a formula of Σ .

4) If t_i is a term of Σ , then $[t_i]$ is a formula of Σ .

5) If α is a formula of Σ , and meta-language-symbol Ψ stands for any element of the set of modality-symbols $\{\square, K, A, E, S, T, F, P, Z, G, W, O, B, U, Y\}$, then any object-language-expression of Σ possessing the form $\Psi\alpha$, is a formula of Σ as well. (Here, the meta-language-expression $\Psi\alpha$ is not a formula of Σ , but a scheme of formulae of Σ .)

6) Successions of symbols (belonging to the alphabet of the object-language of Σ) are formulae of Σ , if and only if this is so owing to the above-given items 1) – 5) of the present definition.

Now let us introduce the elements of the above-mentioned set of modality-symbols $\{\square, K, A, E, S, T, F, P, Z, G, W, O, B, U, Y\}$. Symbol \square stands for the alethic modality "necessary". Symbols K, A, E, S, T, F, P, Z , respectively, stand for modalities "agent *Knows* that...", "agent *A-priori* knows that...", "agent *Empirically (a-posteriori)* knows that...", "under some conditions in some space-and-time a person (immediately or by means of some tools) *Sensually perceives* (has *Sensual verification*) that...", "it is *True* that...", "person has *Faith* (or believes) that...", "it is *Provable* that...", "there is an *algorithm* (a machine could be constructed) *for deciding* that..."

Symbols G, W, O, B, U, Y , respectively, stand for modalities "it is (*morally*) *Good* that...", "it is (*morally*) *Wicked* that...", "it is *Obligatory* that ...", "it

is *Beautiful* that ...”, “it is *Useful* that ...”, “it is *pleasant* that ...”. Meanings of the mentioned symbols are defined (indirectly) by the following schemes of own (proper) axioms of epistemology system Σ which axioms are added to the axioms of classical propositional logic. Schemes of axioms and inference-rules of the classical propositional logic are applicable to all formulae of Σ . More detailed introduction and content-discussion of the modalities can be found in (Lobovikov 2018b).

Axiom scheme AX-1: $A\alpha \supset (\Box\beta \supset \beta)$.

Axiom scheme AX-2: $A\alpha \supset (\Box(\alpha \supset \beta) \supset (\Box\alpha \supset \Box\beta))$.

Axiom scheme AX-3: $A\alpha \leftrightarrow (K\alpha \ \& \ (\Box\alpha \ \& \ \Box\neg S\alpha \ \& \ \Box(\beta \leftrightarrow \Omega\beta)))$.

Axiom scheme AX-4: $E\alpha \leftrightarrow (K\alpha \ \& \ (\neg\Box\alpha \vee \neg\Box\neg S\alpha \vee \neg\Box(\beta \leftrightarrow \Omega\beta)))$.

Axiom scheme AX-5: $(\Box\beta \ \& \ \Box\Box\beta) \supset \beta$.

Axiom scheme AX-6: $(t_i=+=t_k) \supset (G[t_i] \leftrightarrow G[t_k])$.

Axiom scheme AX-7: $(t_i=+=g) \supset \Box G[t_i]$.

Axiom scheme AX-8: $(t_i=+=b) \supset \Box W[t_i]$.

Axiom scheme AX-9: $(G\alpha \supset \neg W\alpha)$.

Axiom scheme AX-10: $(W\alpha \supset \neg G\alpha)$.

In AX-3 and AX-4, the symbol Ω (belonging to the meta-language) stands for any element of the set $\mathfrak{R} = \{\Box, K, T, F, P, Z, G, O, B, U, Y\}$. Let elements of \mathfrak{R} be called “*perfection-modalities*” or simply “*perfections*”.

The axiom-schemes AX-9 and AX-10 are not new in evaluation logic: one can find them in the famous monograph by (Ivin 1970). But the axiom-schemes AX-6, AX-7, AX-8 are new ones: they have not been published hitherto.

3. Defining Semantics of/for Σ . Meanings of the symbols belonging to the alphabet of object-language of Σ owing to the items 1–3 of the above-given definition of the alphabet are defined by the classical propositional logic.

For defining semantics of specific aspects of object-language of formal theory Σ it is necessary to define a set Δ (called “field of interpretation”) and an interpreter called “*valuator (evaluator)*” Θ .

In a standard *interpretation* of formal theory Σ , the set Δ (field of interpretation) is such a set, every element of which has: (1) one and only one *axiological* value from the set {good, bad}; (2) one and only one *ontological* value from the set {exists, not-exists}.

The *axiological variables* x, y, z range over (take their values from) the set Δ .

The *axiological constants* “g” and “b” mean, respectively, “good” and “bad”.

It is presumed here that *axiological evaluating* an element from the set Δ , i.e. ascribing to this element an *axiological value* from the set {good, bad} is performed by a quite definite (perfectly fixed) individual or collective valuator (evaluator) Θ . It is obvious that changing Θ can result in changing valuations of elements of Δ . But *laws of two-valued algebra of formal axiology* do not depend upon changes of Θ as, by definition, formal-axiological laws

of this algebra are such and only such *constant evaluation-functions which obtain the value “good”* independently from any changes of valuator. Thus, generally speaking, Θ is a *variable* which takes its values from the set of all possible evaluators (individual or collective – it does not matter). Nevertheless, a *concrete interpretation* of formal theory Σ is *necessarily fixing* the value of Θ ; changing the value of the variable Θ is changing the concrete interpretation.

In a standard *interpretation* of formal theory Σ , *ontological constants* “e” and “n” mean, respectively, “exists” and “not-exists”. Thus, in a standard interpretation of formal theory Σ , one and only one element of the set $\{\{g, e\}, \{g, n\}, \{b, e\}, \{b, n\}\}$ corresponds to every element of the set Δ . The *ontological constants* “e” and “n” belong to the meta-language. (According to the above-given definition of Σ 's object-language-alphabet, “e” and “n” do not belong to the object-language.) But the *ontological constants are indirectly represented at the level of object-language by square-bracketing*: “ t_i exists” is represented by $[t_i]$; “ t_i not-exists” is represented by $\neg[t_i]$. Thus square-bracketing is a very important aspect of the system under investigation.

N-placed terms of Σ are interpreted as *n-ary algebraic operations (n-placed evaluation-functions)* defined on the set Δ .

Speaking of *evaluation-functions* means speaking of the following mappings (in the proper mathematical meaning of the word “mapping”): $\{g, b\} \rightarrow \{g, b\}$, if one speaks of the evaluation-functions determined by *one* evaluation-variable; $\{g, b\} \times \{g, b\} \rightarrow \{g, b\}$, where “ \times ” stands for the Cartesian product of sets, if one speaks of the evaluation-functions determined by two evaluation-variables; $\{g, b\}^N \rightarrow \{g, b\}$, if one speaks of the evaluation-functions determined by N evaluation-variables, where N is a finite positive integer. For instantiating the psychologically not-habitual general notion “*evaluation-function*” systematically used in two-valued algebra of ethics as formal axiology, evaluation-functions Lx, Vx, Qx, Dx, Jx, Nx are defined precisely by the below evaluation-table 1. (For correct understanding contents of this paper, it is worth emphasizing here that in the semantics of Σ , the above-used symbols Lx, Vx, Jx, Dx, Nx mean *not predicates but terms*. Being given a relevant interpretation, the expressions $(t_i=+=t_k), (t_i=+=g), (t_i=+=b)$ are representations of *predicates* in Σ .)

Table 1. One-placed evaluation-functions

x	Lx	Vx	Jx	Dx	Jx	Nx
g	g	b	b	g	g	b
b	b	g	b	g	b	g

The one-placed term Lx is interpreted in this article as *one-placed evaluation-function “freedom for (what, whom) x ”*. The one-placed term Vx is interpreted in this article as one-placed evaluation-function “freedom from (what, whom) x ”. In the interpretation submitted in this paper, the

term Ix stands for the evaluation-function “*absolute freedom for arbitrary (contingent) choice between being of x and nonbeing of x* ”, i.e. “*freedom for (tolerance to) both: realizing (what, whom) x and not-realizing (what, whom) x* ”. In other words, Ix means act of uniting “*freedom from (what, whom) x* ” and “*freedom from nonbeing of (what, whom) x* ”. Thus, in this paper, the term Ix is interpreted as a *negative-constant-evaluation-function*, i.e. as a *formal-axiological contradiction*. In the interpretation given in this paper, the term Dx stands for the evaluation-function “ *x 's being free from Ix , i.e. x 's being free from (somebody's) arbitrary treating (what, whom) x* ”. Thus, in natural language, humans have not one and the only, and even not two, but four mathematically different meanings of the word “freedom”. (Unfortunately, even today philosophers and linguists do not recognize the very important mathematical difference among the four.) Finally, in the above table 1; the symbol Ix stands for the evaluation-function “*being (existence) of (what, whom) x* ”; Nx stands for the evaluation-function “*non-being (non-existence) of (what, whom) x* ”.

For instantiating the general notion “*two-placed evaluation-function*” also systematically exploited in two-valued algebra of ethics as formal axiology, one can use (Lobovikov 1980; 1984; 1988; 1999).

If t_i is a term of Σ , then, being interpreted, formula $[t_i]$ of Σ is an *either true or false proposition* “ t_i exists”. In a standard interpretation, formula $[t_i]$ is true if and only if t_i has the *ontological value* “e (exists)” in that interpretation. The formula $[t_i]$ is a false proposition in a standard interpretation, if and only if t_i has the *ontological value* “n (not-exists)” in that interpretation.

Given a relevant interpretation, the formula $(t_i = + = t_k)$ of Σ is translated into natural language by the proposition “ t_i is *formally-axiologically equivalent* to t_k ”, which proposition is true if and only if (in the interpretation) the terms t_i and t_k have identical *axiological values* from the set {good, bad} under any possible combination of *axiological values* of their *axiological variables*.

Now, having introduced and defined precisely the substantially new notions essentially involved into the discourse, let us move directly to the above-promised formal proof construction.

4. Formal proof of the theorem scheme $(A\alpha \supset ((t_i = + = t_k) \leftrightarrow ([t_i] \leftrightarrow [t_k])))$ in Σ . The proof of $(A\alpha \supset ((t_i = + = t_k) \leftrightarrow ([t_i] \leftrightarrow [t_k])))$ in Σ is the following succession of formulae schemes.

1. $A\alpha \leftrightarrow (K\alpha \ \& \ (\Box\alpha \ \& \ \Box\neg S\alpha \ \& \ \Box(\beta \leftrightarrow \Omega\beta)))$ by axiom-scheme AX-3.
2. $A\alpha \leftrightarrow (K\alpha \ \& \ (\Box\alpha \ \& \ \Box\neg S\alpha \ \& \ \Box([t_i] \leftrightarrow G[t_i])))$ from 1 by substituting: G for Ω ; $[t_i]$ for β .
3. $A\alpha \supset (K\alpha \ \& \ (\Box\alpha \ \& \ \Box\neg S\alpha \ \& \ \Box([t_i] \leftrightarrow G[t_i])))$ from 2 by the rule of \leftrightarrow elimination.
4. $A\alpha$ assumption.
5. $K\alpha \ \& \ (\Box\alpha \ \& \ \Box\neg S\alpha \ \& \ \Box([t_i] \leftrightarrow G[t_i]))$ from 3 and 4 by *modus ponens*.
6. $\Box([t_i] \leftrightarrow G[t_i])$ from 5 by the rule of eliminating $\&$.

7. $([t_i] \leftrightarrow G[t_i])$ from 4 and 6 by a rule of \square elimination. (The \square elimination rule is *derivative* one¹.)
8. $A\alpha \leftrightarrow (K\alpha \ \& \ (\square\alpha \ \& \ \square\neg S\alpha \ \& \ \square([t_k] \leftrightarrow G[t_k])))$ from 1 by substituting: G for Ω ; $[t_k]$ for β .
9. $A\alpha \supset (K\alpha \ \& \ (\square\alpha \ \& \ \square\neg S\alpha \ \& \ \square([t_k] \leftrightarrow G[t_k])))$ from 8 by the rule of eliminating \leftrightarrow .
10. $K\alpha \ \& \ (\square\alpha \ \& \ \square\neg S\alpha \ \& \ \square([t_k] \leftrightarrow G[t_k]))$ from 4 and 9 by *modus ponens*.
11. $\square([t_k] \leftrightarrow G[t_k])$ from 10 by the rule of eliminating $\&$.
12. $([t_k] \leftrightarrow G[t_k])$ from 4 and 11 by the rule of \square elimination.
13. $(t_i = + = t_k) \leftrightarrow (G[t_i] \leftrightarrow G[t_k])$ axiom-scheme AX-6.
14. $(t_i = + = t_k) \supset (G[t_i] \leftrightarrow G[t_k])$ from 13 by the rule of \leftrightarrow elimination.
15. $(t_i = + = t_k)$ assumption.
16. $(G[t_i] \leftrightarrow G[t_k])$ from 14 and 15 by *modus ponens*.
17. $([t_i] \leftrightarrow G[t_k])$ from 7 and 16 by the rule of transitivity of \leftrightarrow .
18. $(G[t_k] \leftrightarrow [t_k])$ from 12 by the rule of commutativity of \leftrightarrow .
19. $([t_i] \leftrightarrow [t_k])$ from 17 and 18 by the rule of transitivity of \leftrightarrow .
20. $A\alpha, (t_i = + = t_k) \mid - ([t_i] \leftrightarrow [t_k])$ by the succession 1–19.
21. $A\alpha \mid - (t_i = + = t_k) \supset ([t_i] \leftrightarrow [t_k])$ from 20 by the rule of \supset introduction.
22. $(G[t_i] \leftrightarrow G[t_k]) \supset (t_i = + = t_k)$ from 13 by the rule of \leftrightarrow elimination.
23. $([t_i] \leftrightarrow [t_k])$ assumption.
24. $(G[t_i] \leftrightarrow [t_i])$ from 7 by the rule of commutativity of \leftrightarrow .
25. $(G[t_i] \leftrightarrow G[t_k])$ from 24 and 17 by the rule of transitivity of \leftrightarrow .
26. $(t_i = + = t_k)$ from 22 and 25 by *modus ponens*.
27. $A\alpha, ([t_i] \leftrightarrow [t_k]) \mid - (t_i = + = t_k)$ by the succession 1–26.
28. $A\alpha \mid - ([t_i] \leftrightarrow [t_k]) \supset (t_i = + = t_k)$ from 27 by the rule of \supset introduction.
29. $A\alpha \mid - ((t_i = + = t_k) \leftrightarrow ([t_i] \leftrightarrow [t_k]))$ from 28 and 21 by the rule of \leftrightarrow introduction.
30. $\mid - A\alpha \supset ((t_i = + = t_k) \leftrightarrow ([t_i] \leftrightarrow [t_k]))$ from 28 by the rule of \supset introduction.

Here you are².

5. Discussing the Theorem Scheme and Arriving to the Conclusion. Moore (Moore 1903) undertook an attempt of systematical critique of arguments demonstrating rational moral philosophy statement of the existence of logical relationship between corresponding statements of being and statements of moral goodness (positive moral value). All possible attempts logically to bridge the gap between the two qualitatively different species of statements were labeled by him “naturalistic fallacies in ethics”.

¹ It is formulated as follows: $A\alpha, \square\beta \mid - \beta$. This rule is not included into the above-given definition of Σ , but it is easily *derivable* in Σ by means of the axiom scheme AX-1 and *modus ponens*. (The rule $\square\beta \mid - \beta$ is not derivable in Σ , and also Gödel’s necessitation rule is not derivable in Σ . Nevertheless, a limited or conditioned necessitation rule is derivable in Σ , namely, $A\alpha, \square\beta \mid - \beta$.)

² I am grateful to Grigori Olkhovikov for his examining the proof and for suggesting an option of making it more short one.

However, in relation to Moore's *unconditional* negating the arguments in *general*, the theorem ($A\alpha \supset ((t_i = + = t_k) \leftrightarrow ([t_i] \leftrightarrow [t_k])))$ formally proved above in the present article (within the theory Σ) is a counter-example; under the *rare (exotic)* condition of knowledge *a-priori-ness*, formal-logic deriving statements of positive moral value from corresponding statements of being can be valid. In the above-defined interpretation of $\Sigma: (t_i = + = t_k)$ is a *purely evaluative* statement as it is a formal-axiological equivalence of evaluation-functions; $([t_i] \leftrightarrow [t_k])$ is a *purely ontological* statement as it is a logical equivalence of corresponding statements of being, consequently, the *purely ontological* statement implies logically the corresponding *purely evaluative* one (and conversely) under the condition that $A\alpha$.

It is worth noting here that there are publications on metaphysics as formal axiology, for instance, by Lobovikov (Lobovikov 2007; 2015), in which (for the sake of avoiding paradoxes) the following formal rule is suggested: (A) it is forbidden logically to infer $([t_i] \leftrightarrow [t_k])$ from $(t_i = + = t_k)$, and (B) it is forbidden logically to infer $(t_i = + = t_k)$ from $([t_i] \leftrightarrow [t_k])$. This prohibition based on philosophical *empiricism* conceptions by Hume (Hume 1874; 1994; 1998) and Moore (Moore 1903) *seems* to be in logic contradiction with the above-proved theorem, but, in my opinion, it *only seems* so, as the domain of relevant applicability of the above-formulated prohibition has limits: the ban is *not absolutely, but relatively* valid.

The *empirical* moral philosophy doctrines by Hume and Moore are *only partly* adequate: they are universally true within the *restricted* domain of *facts (=contingent truths)* and *empirical* arguments; they are quite right *under the condition* that $E\alpha$. But *contingent moral truths* and *empirical* moral arguments were beyond the aim and subject-matter of the present paper; hence, they were not involved into the discourse intentionally. In the article an abstraction from empirical aspect of the problem under discussion is accepted (this explains using not all axiom schemes of Σ in this paper), consequently, the philosophical significance of the theorem formally proved in this paper is limited. Nevertheless, the unusual formal axiomatic theory Σ and the psychologically unexpected deductive inference of the *purely evaluative* statement from the corresponding *purely ontological* one (under the condition that $A\alpha$) is interesting theoretically and worth discussing.

Vladimir O. Lobovikov, Institute of Philosophy and Law,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: vlobovikov@mail.ru
ORCID: 0000-0001-8760-0452
ResearcherID: K-4188-2018
SPIN-код: 3994-4289

Article received 16.12.2019, accepted 29.02.2020, available online 11.01.2021

Knowledge logic and algebra of formal axiology: a formal axiomatic epistemology

theory Sigma used for precise defining the exotic condition under which Hume-and-Moore doctrine of logically unbridgeable gap between statements of being and statements of value is falsified

Abstract. For the first time, in the formal axiomatic epistemology theory Sigma such a theorem is formally proved which means (in the precisely defined interpretation) that under the condition of knowledge a-priori-ness, a statement of formal-axiological equivalence of moral-evaluation-functions is logically equivalent to logic equivalence of corresponding statements of being. For the first time it is shown that this theorem undermines universality of the conception of Hume and Moore. A precise definition is given for the formal axiomatic theory Sigma, which is a result of logical formalization of the universal philosophical epistemology; and a relevant interpretation of this formal theory is submitted. The formal proof of the theorem can be examined by readers step by step as it is accomplished in accordance with the formalism standards.

Keywords: formal-axiomatic-epistemology-theory; a-priori-knowledge; two-valued-algebra-of-formal-axiology; formal-axiological-equivalence; moral-evaluation-function; Hume-guillotine; naturalistic-fallacies-in-ethics; fact-value-dualism.

For citation: Lobovikov V.O. Knowledge Logic and Algebra of Formal Axiology: a Formal Axiomatic Epistemology Theory Sigma Used for Precise Defining the Exotic Condition Under Which Hume-and-Moore Doctrine of logically Unbridgeable Gap Between Statements of Being and Statements of Value is Falsified, *Antinomii=Antinomies*, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 7-23. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10401.

References

Adler M.J. 1981. *Six Great Ideas: Truth, Goodness, Beauty, Liberty, Equality, Justice; Ideas We Judge by, Ideas We Act On*, New York, Collier/Macmillan, 243 p.

Ayer A.J. 1952. *Language, Truth and Logic*. New York, Dover Publications, 160 p.

Ayer A.J. 1954. *Philosophical Essays*, London, Mcmillan, 284 p.

Carnap R. 1931. *Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache* [Overcoming Metaphysics by Logical Analysis of Language], *Erkenntnis*, no. 2, pp. 219-241. (in German).

Carnap R. 1956. *Meaning and Necessity: a study in semantics and modal logic*, Chicago, London, Univ. of Chicago Press, 258 p.

Descartes R. 1994a. *Meditations on First Philosophy*, M. Adler (ed.), *Great Books of the Western World*, Chicago, Auckland, London, Madrid, Encyclopedia Britannica, vol. 28, pp. 295-329.

Descartes R. 1994b. *Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason*, M. Adler (ed.), *Great Books of the Western World*, Chicago, Auckland, London, Madrid, Encyclopedia Britannica, vol. 28, pp. 265-291.

Dewey J. 1903. *Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality*, J.A. Boydston (ed.), *John Dewey: The Middle Works, 1899-1924*, Carbondale, IL, Southern Illinois Univ. Press, vol. 3, pp. 3-39.

Dewey J. 1929. *The Quest for Certainty: A Study of the Relation of Knowledge and Action*, New York, Minton, Balch and Co., 324 p.

Dewey J. 1938. *Logic, the Theory of Inquiry*, New York, H. Holt and Co., 546 p.

Dewey J. 1939. *Theory of Valuation*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 67 p.

Hume D. A 1874. *Treatise of Human Nature Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects*, T.H. Green, T.H. Grose (eds.), *The Philosophical Works of David Hume in Four Volumes*, London, Longmans, Green, and Co., vol. 2, pp. 1-374.

Hume D. 1994. *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Mortimer J. Adler (ed.), *Great Books of the Western World*, Chicago, London, Encyclopedia Britannica, Inc., vol. 33, pp. 451-509.

Hume D. 1998. *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*, Oxford, Oxford Univ. Press, 300 p.

Ivin A.A. 1970. *Osnovaniya logiki ocenok* [Foundations of Evaluation Logic], Moscow, Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 230 p. (in Russ.).

Leibniz G.W. 1903. *Generales Inquisitiones de Analyysi Notionum et Veritatum* [General Investigations concerning the Analysis of Concepts and Truths], L. Couturat (ed.), *Opuscules et Fragments Inédits de Leibniz: extraits de la Bibliothèque royale de Hanovre*, Paris, Alcan, pp. 356-399. (in Latin).

Leibniz G.W. 1952. *Theodicy: essays on the goodness of God, the freedom of man, and the origin of evil*, London, Routledge & K. Paul, 448 p.

Leibniz G.W. 1969. *Philosophical Papers and Letters*, 2nd ed., Dordrecht, D. Reidel, 736 p.

Leibniz G.W. 1971. *Elementa Juris Naturalis* [Elements of the Natural Law], G.W. Leibniz, *Philosophische Schriften*, Berlin, Akademie-Verlag, vol. 1, pp. 431-485. (in Latin).

Leibniz G.W. 1981. *New essays on human understanding*, Cambridge [Eng.], New York, Cambridge Univ. Press, 402 p.

Lewis C. I. 1946. *An Analysis of Knowledge and Valuation*, LaSalle, Illinois, Open Court, 567 p.

Lobovikov V.O. 1980. *Algebraizatsiya otdel'nykh fragmentov etiki kak predposylka ikh formalizatsii* [An Algebraization of Some Fragments of Ethics as a Prerequisite of Their Formalization], *Tezisy konferentsii "Problemy i perspektivy ispol'zovaniya logiko-kiberneticheskoi tekhniki"*, Sverdlovsk, Oblastnoi sovet NTO, pp. 49-51. (in Russ.).

Lobovikov V.O. 1984. *Novaya nelogicheskaya interpretatsiya matematicheskogo apparata klassicheskoi logiki predikatov pervogo poryadka* [A New Not-Logic Interpretation of Mathematical Apparatus of the Classical First-Order Predicate Logic], *Logika, poznanie, otrazhenie*, Sverdlovsk, Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, pp. 33-58. (in Russ.).

Lobovikov V.O. 1988. *Iskusstvennyi intellekt, formal'naya etika i moral'no-pravovoi vybor* [Artificial Intelligence, Formal Ethics, and Moral-Legal Choice], Sverdlovsk, Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, 188 p. (in Russ.).

Lobovikov V.O. 1999. *Mathematical Jurisprudence and Mathematical Ethics (A mathematical simulation of the evaluative and the normative attitudes to the rigoristic sub-systems of the Positive Law and of the Natural-Law-and-Morals)*, Yekaterinburg, The Urals State University Press, The Urals State Law Academy Press, The Liberal Arts University Press, 124 p.

Lobovikov V.O. 2007. *Matematicheskaya etika, metafizika i estestvennoe pravo (Algebra metafiziki kak algebra formal'noi aksiologii)* [Mathematical Ethics, Metaphysics, and the Natural Law (Algebra of Metaphysics as Algebra of Formal Axiology)], Yekaterinburg, Institut filosofii i prava Ural'skogo otdeleniya Rossiiskoi akademii nauk, 408 p. (in Russ.).

Lobovikov V.O. 2014. *Algebra of Morality and Formal Ethics*, Benziman Y., Lobovikov V., Lublin R.I., Huang L., Bacon S., Szutta N., Bronk K., *Looking Back to See the Future*.

Reflections on Sins and Virtues, edited by Katarzyna Bronk, Oxford, Interdisciplinary Press, pp. 17-41.

Lobovikov V.O. 2015. The Trinity Triangle and the Homonymy of the Word “Is” in Natural Language (A Logically Consistent Discrete Mathematical Representation of the Trinity by Means of Algebra of Morality and Formal Ethics), *Philosophy Study*, vol. 5, no. 7, pp. 327-341. DOI 10.17265/2159-5313/2015.07.001.

Lobovikov V.O. 2017. *Formal'nyj deduktivnyj vyvod ekvivalentnosti ocenocnyh modal'nostej dobra, pol'zy i udovol'stviya v aksiomaticheskoj sisteme epistemologii iz dopushcheniya ob apriornosti znaniya (Aksiomaticheskoe opredelenie oblasti umestnoj primenimosti ucheniya Dzh. Mura o naturalisticheskikh oshibkah v etike)* [A Formal Deductive Proof of Equivalence of Evaluative Modalities of Moral Goodness, Utility and Pleasure within an Axiomatic System of Epistemology from the Assumption of A-priori-ness of Knowledge (An Axiomatic Definition of the Scope of Relevant Applying G. Moore's Doctrine of the Naturalistic Fallacies in Ethics)], *Journal of Tomsk State University. Series: Philosophy, Sociology, Political Studies*, vol. 39, no. 3, pp. 30-39. DOI 10.17223/1998863X/39/4. (in Russ.).

Lobovikov V.O. 2018a. Vindicating Gödel's Uniting Logic, Metaphysics and Theology (God's omnipresence proved by computing compositions of evaluation-functions in two-valued algebra of metaphysics as formal axiology), *Proceedings of the Round Table “Religion and Religious Studies in the Urals”*, Yekaterinburg, Delovaya Kniga, pp. 33-36.

Lobovikov V.O. 2018b. Proofs of Logic Consistency of a Formal Axiomatic Epistemology Theory Ξ , and Demonstrations of Improvability of the Formulae $(Kq \rightarrow q)$ and $(\Box q \rightarrow q)$, *Journal of Applied Mathematics and Computation*, vol. 2, no. 10, pp. 483-495. DOI 10.26855/jamc.2018.10.004.

Lobovikov V.O. 2019. Analytical Theology: God's Omnipotence as a Formal-Axiological Law of the Two-Valued Algebra of Formal Ethics (Demonstrating the Law by “Computing” Relevant Evaluation-Functions), *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, no. 1(47), pp. 87-93. DOI 10.17223/1998863X/47/9.

MacIntyre A. 1981. *After Virtue: A Study in Moral Theory*, Notre Dame, Indiana, Univ. of Notre Dame Press, 252 p.

Mackie J.L. 1946. The Refutation of Morals, *Australasian Journal of Philosophy*, no. 24, pp. 77-90.

Mackie J.L. 1977. *Ethics: Inventing Right and Wrong*, Harmondsworth, Penguin, 249 p.

Marchetti G., Marchetti S. 2017. Behind and Beyond the Fact/Value Dichotomy, G. Marchetti, S. Marchetti (eds.), *Facts and Values: The Ethics and Metaphysics of Normativity*, New York, London, Routledge, pp. 1-23.

Moore G.E. 1903. *Principia Ethica*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 232 p.

Morris C. 1963. Pragmatism and Logical Empiricism, P.A. Schilpp (ed.), *The Philosophy of Rudolf Carnap*, La Salle, IL., Open Court, pp. 87-97.

Putnam H. 1981. *Reason, Truth and History*, Cambridge, Univ. Press, 224 p.

Putnam H. 2002. *The Collapse of the Fact/Value Dichotomy. And Other Essays*, Cambridge, MA, Harvard Univ. Press, 190 p.

Putnam H. 2004. *Ethics without Ontology*, Cambridge, MA, Harvard Univ. Press, 160 p.

Putnam H. 2015. Naturalism, Realism and Normativity, *Journal of the American Philosophical Association*, vol. 1, no. 1, pp. 312-328.

Putnam H. 2017. The Fact/Value Dichotomy and the Future of Philosophy, G. Marchetti, S. Marchetti (eds.), *Facts and Values: The Ethics and Metaphysics of Normativity*, New York, London, Routledge, pp. 27-44.

Quine W.V.O. 1980. *From a Logical Point of View: Nine Logico-Philosophical Essays*, 3rd ed., Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 184 p.

- Russell B. 1914. *Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy [The Lowell Lectures, 1914]*, London, Open Court Publishing Co., 245 p.
- Russell B. 1918. *Mysticism and Logic and Other Essays*, New York, Longmans, Green & Co., 234 p.
- Russell B. 1940. *An Inquiry into Meaning and Truth*, New York, W.W. Norton & Co., Inc., London, George Allen & Unwin, 445 p.
- Russell B. 1948. *Human Knowledge: Its Scope and Limits*, London, George Allen and Unwin, 538 p.; New York, Simon and Schuster, 524 p.
- Russell B. 1997. *Religion and Science*, Oxford, New York, Oxford Univ. Press, 272 p.
- Schiller F.C.S. 1903. *Humanism: Philosophical Essays*, London, New York, Macmillan & Co., 297 p.
- Schlick M. 1974. *General Theory of Knowledge*, Wien, Springer-Verlag, 410 p.
- Schlick M. 1978. *Philosophical Papers. Vol. 1. 1909–1925*, H.L. Mulder and B.F. van de Velde-Schlick (eds.), Dordrecht, D. Reidel, 374 p.
- Schlick M. 1979. *Philosophical Papers. Vol. 2. 1925–1936*, H.L. Mulder and B.F. van de Velde-Schlick (eds.), Dordrecht, D. Reidel, 538 p.
- Stevenson C.L. 1937. *The Emotive Meaning of Ethical Terms*, *Mind*, no. 46, pp. 14-31.
- Stevenson C.L. 1944. *Ethics and Language*, New Haven, Yale Univ. Press, 349 p.
- Stevenson C.L. 1963. *Facts and Values: Studies in Ethical Analysis*, New Haven, Yale Univ. Press, Montreal, McGill Univ. Press, 244 p.
- Weber G.F. 2017. The Fact-Value Dichotomy: A New Light on an Old Problem, *Sociology Mind*, no. 7, pp. 154-170. DOI 10.4236/sm.2017.74011, available: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=78678>, (accessed November 23, 2019).
- Weir A. 2019. Formalism in the Philosophy of Mathematics, *Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition)*, available at: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/formalism-mathematics/> (accessed February 11, 2020).
- Wittgenstein L. 1992. *Tractatus logico-philosophicus*, London, New York, Routledge & K. Paul, 207 p.



Муртазин С.Р. Проблема другого сознания: угроза скептицизма и возможные пути ее преодоления (на примере концепций Саймона Глендиннинга и Фредерика Олафсона). DOI 10.24411/2686-7206-2020-10402 // Антиномии. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 24–44.

УДК 165.41

DOI 10.24411/2686-7206-2020-10402

Проблема другого сознания: угроза скептицизма и возможные пути ее преодоления (на примере концепций Саймона Глендиннинга и Фредерика Олафсона)

Салават Раисович Муртазин

аспирант кафедры социальной философии

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия.

E-mail: murtazin.salawat2013@yandex.ru

*Статья поступила 27.06.2020, принята к печати 16.10.2020,
доступна online 11.01.2021*

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современной философии, а именно проблеме другого сознания. Она характерна как для аналитической, так и для континентальной традиции в философии. По мнению автора, проблема другого сознания имеет не только эпистемологический и онтологический, но также и этический аспект, причем все три указанных аспекта тесно взаимосвязаны. Для подтверждения этого предположения в статье предпринят, во-первых, анализ проблемы другого сознания, в частности рассматриваются подходы Алека Хайслопа и Саймона Глендиннинга к ее формулировке. В основе этой проблемы лежит асимметрия между восприятием личностью собственных ментальных состояний и восприятием ей ментальных состояний других. Во-вторых, кратко излагается сущность одного из самых известных подходов к решению данной проблемы, а именно аргумента по аналогии (согласно этой теории, наши суждения о чувствах и переживаниях других строятся нами на основании аналогии со своими собственными и их проявлениями в нашем поведении), а также определяются позиции, по которым возможна критика этого подхода. В-третьих, в статье затрагивается тема угрозы скептицизма, которая представляет собой крайне серьезное затруднение на пути к решению проблемы другого сознания. Она заключается в том, что у нас нет надежных средств для удовлетворительного обоснования наших суждений о существовании чего-либо, что стояло бы за внешними актами поведения и иными проявлениями человека, например свидетельствующими о боли. Автор рассматривает два подхода, которые, по сути, не опровергают аргументы скептицизма, но предотвращают само возникнове-



© Муртазин С.Р., 2020

ние его угрозы. Это концепции «рефрейминг скептицизма» и «чтение – ответ» Саймона Глендиннинга, а также идея о необходимости признания реальности другого для возможности познания окружающей нас действительности, выдвигаемая Фредериком Олафсоном. Данные подходы к преодолению угрозы скептицизма предполагают отказ от традиционной, чисто эпистемологической, установки в решении проблемы другого сознания, для которой характерен акцент на проблематичности соотношения нашего знания о ментальных состояниях другого с реальностью их существования. Борьба с угрозой скептицизма, а также противоречия, которые порождает подобный скептицизм, по сути, приводят нас к необходимости исследования этического аспекта проблемы бытия с другим, который, впрочем, не может рассматриваться в отрыве от эпистемологического и онтологического аспектов.

Ключевые слова: другой, сознание, бытие с другим, скептицизм, эпистемология, аналогия, рефрейминг скептицизма, критерии, деконструкция, этика.

Введение. Одной из актуальных исследовательских проблем, которые находятся в центре внимания современной философии с начала XX в., является проблема сущности сознания, а также возможности и методов его познания. Причем данная проблема так или иначе затрагивается обеими основными философскими традициями – и аналитической, и континентальной. В рамках континентальной традиции наиболее пристальное внимание исследованию сознания и его структур уделяет феноменология в различных своих вариациях, а также экзистенциализм, психоанализ и т.д. Для аналитической философии характерно множество разработок проблемы сознания, а также смежных дискуссионных вопросов, которые находятся в центре внимания представителей данной философской традиции, таких как проблема соотношения физиологических процессов в человеческом организме и ментальных процессов, проблема существования *квалиа*, вопросы о возможности наличия интеллекта у животных, о возможности создания искусственного интеллекта и т.д.

Мы рассмотрим один из ключевых вопросов в данной области философских исследований, который, в определенном смысле, затрагивает все смежные позиции, а именно проблему *другого сознания*. Данная проблема, помимо этого, может быть интерпретирована как необходимая часть не менее важной для современной философии темы исследований и изысканий, а именно проблемы *бытия с другим*. И проблема другого сознания, и проблема бытия с другим имеют одно основание, а именно вопрос о реальности другого и его сознания, о его существенных характеристиках и особенностях его бытия, которые мы не можем игнорировать ни при попытках построить обоснованные суждения о нем, о другом, ни при попытках проверить обоснованность этих самых суждений. В этом смысле проблема другого сознания, как минимум в традиционном ее понимании, которая будет описана чуть ниже, имеет серьезный крен в сторону *эпистемологического* (проблема обоснования нашего знания о другом) *аспекта*. На это указывают как постановка самой проблемы, так и большая часть вариантов ее решения. При этом, как мы убедимся, подобная постановка проблемы может привести нас к некоторым, весьма серьезным, противоречиям и затруднениям.

Наша задача, однако, – продемонстрировать, что проблема другого сознания имеет, помимо прочего, также и иной аспект, а именно *этический*. Связь этики и проблемы другого сознания может быть установлена нами двумя путями. Во-первых, признание реальности другого, его отличия от окружающих его вещей, а также нашей с другим определенной степени сходства (например, в способности испытывать боль, радость и т.д.), обуславливает то, что относиться к нему, к другому, мы должны особым, *этическим* образом. Самый простой пример, который мы можем здесь привести, – это «золотое правило», которое требует от нас такого отношения к другим, которое мы хотели бы от них к самим себе (Гусейнов 2001: 57). Или же мы можем вспомнить об одной из формулировок знаменитого категорического императива Иммануила Канта, который утверждает особое отношение к другому, а именно отношение к нему «как к цели, а не как к средству» (Кант 1994d: 205) – в отличие от различного рода неодушевленных предметов, которые чаще всего и используются нами как средство или инструменты для выполнения какой-либо деятельности. Стоит отметить, что на заре человечества в рамках мифологии природа зачастую одушевлялась и даже обожествлялась, что, например, еще долго находило отклик в античной философии (Гатри 2015: 41-45), однако в наше время взаимодействие человека с природой интересует этику исключительно с точки зрения его последствий для человека и других живых существ. Во-вторых, как мы убедимся, затруднения и противоречия, которые возникают при попытке исключительно эпистемологического подхода к проблеме другого сознания, актуализируют некоторые вопросы, которые, с нашей точки зрения, мы можем трактовать как этические.

1. Кратко о сути проблемы другого сознания: два подхода к ее формулировке. Для начала нам необходимо разобраться с тем, что, собственно, представляет собой проблема другого сознания. Наиболее интересные подходы к ее формулировке мы можем найти в работах профессора Европейского института Лондонской школы экономики Саймона Глендиннинга (Simon Glendinning) «О бытии с другими: Хайдеггер, Деррида, Витгенштейн» («On Being with Others: Heidegger, Derrida, Wittgenstein») (Glendinning 1998), а также исследователя из университета Ла Троба Алека Хайслопа (Alec Hyslop) «Другие сознания» («Other Minds»).

Саймон Глендиннинг подходит к проблеме другого сознания с точки зрения разграничения всех наших суждений о самих себе и об окружающем нас мире. В общей сложности он выделяет два больших вида наших суждений; каждый из них, в свою очередь, включает в себя по два под-вида:

1. Суждения, которые отсылают нас к самим себе:

1а. Суждения, отсылающие нас к себе как к объекту. Автор приводит следующие примеры: «я все такой же высокий, как и на прошлой неделе», «меня только что постригли» и т.д. То есть в данном случае мы как бы смотрим на себя со стороны, являемся сами для себя «объектами», о которых мы строим наши суждения.

1b. Суждения, отсылающие нас к себе как к субъекту. Примеры: «я вижу синюю птицу», «я думаю, что пойдет дождь», «я надеюсь, что сейчас лучше», «я понимаю, что уже поздно» и т.д. В этом случае мы говорим о себе не просто как об одном из объектов окружающего нас мира, но как о воспринимающем мир и самого себя субъекте, который, например, способен испытывать боль или видеть подсолнух.

2. Суждения, отсылающие нас к сущностям, которые не являются нами:

2a. Суждения, отсылающие нас к сущностям, которые не похожи на нас и не родственны нам. Эти сущности наделяются нами только физическими и химическими качествами. Глендиннинг уточняет далее, что эти сущности не способны делать утверждения типа (1b) о себе самих. Примеры довольно очевидны: камни, телефоны, растения, некоторые животные и т.д.

2b. Суждения, которые отсылают нас к сущностям, которые похожи на нас, принадлежат к тому же роду, что и мы сами, а также способны делать утверждения типа (1b) о самих себе или быть субъектами таких высказываний. Такими сущностями являются другие взрослые люди, а в более «слабых» версиях – дети и некоторые виды животных.

Проблема другого сознания возникает при попытке обосновать суждения типа (2b), то есть суждения о тех объектах, которые, с одной стороны, не являются нами самими, но, с другой стороны, не являются неодушевленными вещами и, в отличие от последних, способны выстраивать суждения о себе как о субъектах восприятия и ощущений так же, как и мы, то есть суждения типа (1b). Затруднение заключается в том, что наши суждения об ощущениях других, их восприятии окружающего мира, их ментальных состояниях даны нам не непосредственно, но только посредством внешнего их проявления в поведении. Это, в свою очередь, может привести к возникновению закономерного сомнения в том, что разграничение между суждениями типа (2a) и (2b) является в достаточной мере обоснованным. Однако в этой схеме есть один серьезный изъян, который подробнее мы рассмотрим позже, а именно когда речь будет идти о противоречиях, возникающих между двумя формами скептицизма. Пока отметим лишь то, что этот изъян закрался в самую предпосылку о противопоставлении познания объективных, непосредственно данных объектов и познания другого сознания, что, по сути, полностью игнорирует социальный фактор и роль других людей в процессе нашего познания.

Немного другой подход мы можем обнаружить у Алека Хайслопа. Если у Глендиннинга упор сделан преимущественно на проблему соотношения объектов нашего восприятия и наших суждений о них, а именно на вопрос об особом статусе другого в окружающем нас мире, то Хайслоп акцентирует наше внимание на проблеме соотношения нашего знания о самих себе и знания о других. Он утверждает, что в основе проблемы другого сознания лежит *асимметрия* между нашим знанием о своих собственных ощущениях, ментальных состояниях, которые даны нам непосредственно, и знанием об ощущениях, ментальных состояниях других, которые даны нам только опосредованно (Hyslop 1995: 5-14). Например, мы никогда не сможем ошутить

боль другого и способны только, исходя из косвенных признаков, ощутить то, каково нам было бы на месте того, кто испытывает боль. Или, например, мы точно знаем, что видим подсолнух (при этом здесь не совсем важно, существует ли он объективно), однако мы не можем увидеть его за другого, и мы не знаем наверняка, видит ли его другой. Из этого факта также могут произрастать сомнения, обоснованы ли наши суждения о том, что кто-то действительно испытывает боль или видит подсолнух.

II. Аргумент по аналогии и возражения против него. В рамках современной философии существует несколько стратегий по преодолению вышеописанной асимметрии между самовосприятием и восприятием других. Одной из самых старых и самых популярных является так называемый *аргумент по аналогии*, который опирается, как понятно уже из самого названия, на идею индуктивных умозаключений о внутренних состояниях другого по аналогии со своими собственными. Наиболее четкую формулировку данного подхода мы можем найти у Дж.С. Милля, который выделяет три составные части в поведении человека: изменения тела, ощущения и чувства и, собственно, внешнее поведение. Взаимообусловленность этих трех элементов в нашем собственном случае дает основания предполагать присутствие аналогичных элементов и у других, если даже один из этих элементов, а именно второй – ощущения и чувства других – не даны нам непосредственно (Mill 1867: 237).

Несмотря на то что аргумент по аналогии остается одним из актуальных подходов к проблеме другого сознания и его никак нельзя списывать со счетов, за время его существования против него возникло множество контраргументов. Одна из главных претензий к данному подходу состоит в том, что аргумент по аналогии опирается на индуктивное умозаключение, которое, в свою очередь, основано на распространении на неизвестное количество неисследованных случаев качеств относительно небольшого количества изученных примеров (пример тому – уже известное всем утверждение «все лебеди являются белыми», которое оказалось ложным). В случае с проблемой другого сознания данная коллизия усугубляется еще больше, так как умозаключение строится на основании суждения об одном-единственном случае связи внутренних психических состояний и их внешнего проявления. Норман Малькольм, например, вовсе утверждает, что само затруднение касательно другого сознания во многом возникает у нас вследствие применения подобного рода индуктивных умозаключений, исходящих из своего собственного случая, а также ставит под сомнение идею асимметрии между восприятием человеком самого себя и восприятием им других людей (Malcolm 1958: 976-978).

Еще одно возражение против аргумента по аналогии, как нам представляется, может исходить из возможного «разрыва» между механизмами в нашем сознании, отвечающими за вышеупомянутые процессы, а именно процессы восприятия человеком себя и восприятия человеком других. Основания для такого рода возражения дают нам психологические эксперименты, описанные в статье профессора Корнеллского университета Шона

Николса (Shaun Nichols) и профессора Патгерского университета Стивена Стича (Stephen Stich) в их статье «Как читать собственное сознание: когнитивная теория самосознания» («How to Read Your Own Mind: A Cognitive Theory of Self-Consciousness») (Nichols, Stich 2003).

Основным объектом критики в статье вышеупомянутых авторов является то, что они обозначают как *теорию теории* (*The Theory Theory, TT*), согласно которой ключевая роль механизма, лежащего в основании как познания самого себя, так и познания другого, принадлежит так называемой *теории сознания* (*Theory of mind, ToM*). Авторы, в противовес *TT*, делают попытку обосновать собственную гипотезу о том, что существует отдельный от *ToM* механизм мониторинга (*The Monitoring Mechanism, MM*) отвечающий за самосознание человека и мониторинг им своих собственных ментальных состояний и состояний других. Более того, при «повреждении» одного из этих механизмов и невозможности отчетливых и ясных суждений о себе или о других второй из этих механизмов восприятия может продолжать исправно работать. Данное положение не является голословным: в качестве подтверждения авторы ссылаются на ряд экспериментов, проведенных С. Барон-Коэном, П. Карратерсом, К. Фритом и Ф. Хаппе. В экспериментах приняли участие люди, страдающие аутизмом и шизофренией. Не вдаваясь в подробности, отметим, что эксперименты можно разделить на два типа. Первый тип направлен на выявление возможности испытуемого отличить реальность от видимости (с помощью пластикового «шоколада») и адекватно осмыслять убеждения других¹. Второй тип направлен на установление возможности ясных и неискаженных суждений о самом себе посредством периодических отчетов о своем текущем состоянии испытуемых (как с аутизмом, так и с шизофренией) и изучения автобиографий людей, имеющих синдром Аспергера, которые описывают их предыдущий опыт, например, те или иные события, которые происходили в их жизни, и то, что они в этот момент ощущали и чувствовали.

В результате экспериментов выяснилось, что люди, страдающие аутизмом, несмотря на то что они не справляются с заданиями первого типа (демаркация между реальностью и видимостью, а также адекватное понимание убеждений других), неплохо выполняют задания второго типа (отчеты о текущем состоянии и воспоминания о прошлых состояниях), не считая трудностей, вызванных некоторым недостатком в их «терминологическом словаре». Люди, больные шизофренией, напротив, особенно в периоды обострений, не справлялись с заданиями второго типа, но задания первого типа им давались успешнее, чем испытуемым с аутизмом. Результаты

¹ Эксперимент, который приводят авторы статьи, известен как «задача на понимание ложных убеждений». Суть его заключается в следующем: при помощи кукольного спектакля и спрятанной вещи: протагонист оставляет X (например, шоколадку или мяч) в определенном месте (на тумбочку или на стол), затем без его ведома X переносят и прячут в другое место (из тумбочки в шкаф или в другую комнату). Задача испытуемого – верно определить убеждение протагониста в местоположении X, или, говоря проще, верно ответить на вопрос о том, где протагонист будет искать X в первую очередь.

этих экспериментов, с точки зрения авторов, могут быть проинтерпретированы как подтверждение их гипотезы о существовании *ММ*, независимого от *ТоМ*, и в случае «повреждения» первого второй может оставаться функциональным. В случае с аутизмом мы имеем дело с «поврежденным» *ТоМ*, но «нетронутым» *ММ*, в случае шизофрении – с «поврежденным» *ММ*, но «нетронутым» *ТоМ*.

С нашей точки зрения, возможность подобной автономии между механизмами самовосприятия и восприятия других может поставить под сомнение применимость результатов первого ко второму, на чем и строится, по сути, аргумент по аналогии.

III. Угроза скептицизма и поиск путей ее преодоления. Вышеописанные коллизии, связанные с аргументом по аналогии, являются лишь частью куда более значительного затруднения, с которым мы сталкиваемся в рамках проблемы другого сознания, а именно того, что Глендиннинг в своей книге, уже упомянутой ранее, обозначает как *угроза скептицизма* (*threat of scepticism*). По сути, она заключается в том, что любые попытки сформулировать утверждения о реальности сознания другого могут столкнуться со скептическим контраргументом против обоснованности этого утверждения.

Однако возникает резонный вопрос: если скептики не верят, что другие люди наделены сознанием, способностью к пониманию и т.д., то к кому направлены их доводы и аргументы? Факт того, что они коммуницируют и дискутируют с другими исследователями и философами, уже свидетельствует об их признании других в качестве подобных себе и восприимчивых к аргументации. Впрочем, мы можем проинтерпретировать идею скептицизма относительно других сознаний следующим образом: скептик не сомневается в реальности другого сознания, но сомневается в обоснованности наших и его собственных суждений и утверждений касательно этого. Подобный род сомнения может быть рассмотрен в качестве так называемого методологического. Как мы знаем, родоначальником сомнения как метода является Рене Декарт, который с первых страниц своего труда «Начала философии» призывает нас «для разыскания истины» «раз в жизни, насколько это возможно, поставить все под сомнение» (Декарт 1950: 426). Как минимум в некоторых случаях целью «скептицизма относительно другого сознания» является проверка на прочность наших суждений и убеждений, которые кажутся нам чем-то само собой разумеющимся. И, в определенном смысле, мыслители и философы, ставящие под сомнение наши суждения о других сознаниях, предлагают нам попытаться оспорить теоретические основания, на которых и выстраиваются те или иные аргументы, ими выдвигаемые. Подобный скептицизм может послужить также отправной точкой для выстраивания новой теории или совершенствования наших прежних представлений, например о сознании.

Но здесь возникает некоторая неясность: раз скептицизм так полезен для теоретиков и исследователей (причем не только в сфере изучения сознания), почему он обозначается и Глендиннингом, и нами как угроза?

Мы полагаем, что угроза скептицизма заключается не только и не столько в том, что отрицается существование другого сознания; этот подход, по сути, делает в принципе невозможным любые попытки обоснования каких-либо наших суждений, в том числе суждений о ментальных состояниях других. Причем наибольшее затруднение вызывает именно то, что данная форма скептицизма становится перманентной и в какой-то степени неопровержимой. Это обуславливается, помимо прочего, и тем, что большинство контраргументов, в итоге, работают не «против», а «за» эту форму скептицизма, поскольку выстраиваются на теоретическом фундаменте самого этого скептицизма. Таким образом, мы можем предположить, что методологический скептицизм, в частности относительно другого сознания, превращается в угрозу, когда становится постулатом, препятствующим любым нашим попыткам выстроить суждения, например о другом. Кстати сказать, о вреде подобного рода постоянного пребывания в состоянии скептицизма пишет уже упомянутый нами ранее Иммануил Кант в одной из своих статей, посвященных идее «мирного договора в философии» (Кант 1994а: 248-249), а также и в куда более известной «Критике чистого разума», где он называет скептицизм «временным привалом для человеческого разума», но не постоянной его «резиденцией» (Кант 1994с: 559).

И все же не стоит исключать того, что побочным эффектом подобного скептицизма может стать определенного рода солипсизм, но не по отношению ко всей окружающей реальности, а к реальности другого как подобного нам существа, отличающегося от прочих окружающих нас объектов. О такой форме солипсизма, например, упоминал Жан-Поль Сартр в своем знаменитом труде «Бытие и ничто», а именно в разделе, полностью посвященном проблеме «бытия для другого» (Сартр 2000: 247-256), в котором он касается и проблемы разграничения нашего «бытия для себя» и «бытия для другого». Но возможно ли четкое разграничение между солипсизмом относительно другого сознания и солипсизмом относительно окружающего мира? Как мы убедимся далее, на этот вопрос ответ, скорее всего, будет отрицательным.

Однако каким образом может быть преодолена описанная выше угроза скептицизма? Глендиннинг утверждает, что для этого нам необходимо провести *рефрейминг скептицизма* (*reframing of scepticism*). Данная процедура заключается не в оспаривании и опровержении аргументов скептиков, но, в определенном смысле, в деконструкции самих теоретических оснований этих аргументов, что, в свою очередь, поможет нам «обойти» угрозу скептицизма.

В поисках путей обхода угрозы скептицизма Глендиннинг проводит критический анализ теорий, касающихся проблемы сущности человека и природы языка, выдвинутых Дж. Остином, М. Хайдеггером, Ж. Деррида, Л. Витгенштейном и т.д. Мы можем выделить как минимум четыре ключевых момента в исследовании британского профессора, которые вплотную подводят нас к его варианту решения проблемы преодоления скептицизма относительно другого сознания.

1. Сомнения за пределами обыденного (*Hesitations beyond the ordinary*). В главе, посвященной попытке решения проблемы других сознаний Джоном Остином, британский исследователь касается, среди прочего, резкой критики традиционной философии основателем философии обыденного языка. Если кратко, то, по сути, проблема другого сознания вытекает из привычки (*Gleichschaltung*) (Austin 1962: 3), которая предполагает, с точки зрения Дж. Остина, искажение философией исследуемых явлений, «подгонку» их под определенные, удобные для самих философов, системы, а также неверное словоупотребление. Именно преодоление данных негативных факторов традиционной философии, с этой точки зрения, поможет нам показать несостоятельность самой постановки вопроса о реальности других сознаний и избежать угрозы скептицизма. Однако, внимательно рассмотрев идеи самого Остина, Глендиннинг обнаружил, что теория обыденного языка и его употребления содержит предпосылку, явно уязвимую для угрозы скептицизма» а именно разделение на *внутренние состояния* человека и их *внешние проявления*.

2. Обособление внутренних (психологических/ментальных) состояний человека от их внешних проявлений. Основная загвоздка в теории языка Дж. Остина, с точки зрения исследователя, которая не позволяет представить ее в качестве основания необходимого для нас рефрейминга скептицизма, заключается в идее *разграничения «серьезных» и «несерьезных» высказываний в обыденном языке*, а говоря точнее, в вопросе об их демаркации: к «несерьезным» мы можем отнести, например, слова, сказанные человеком в рамках исполнения роли в театральной постановке и т.д. Суть претензий Глендиннинга заключается в том, что, разграничивая эти типы высказываний, Остин ссылается на внутренние состояния, мысли человека, которые, в отличие от самих высказываний, не даны нам непосредственно. Говоря другими словами, мы можем непосредственно воспринимать только речевые акты, но не реальные намерения человека, о которых мы можем догадываться, опираясь на различного рода косвенные признаки. И именно в этот момент скептик может усомниться в том, насколько адекватно мы соотносим внутренние состояния человека и его намерения (серьезность намерений, чувств и ощущений, стоящих за высказываниями) с внешними их проявлениями (будь то в высказываниях, каких-либо действиях, сигналах и т.д.).

В качестве возможной теоретической базы для рефрейминга Глендиннинг указывает подход к проблеме бытия человека и идею *бытия-с (Mitsein)* Мартина Хайдеггера, отмечая, впрочем, «неясность» его манеры изложения, а также спорные моменты, возрождающие угрозу скептицизма. Не вдаваясь в подробности интерпретации автором основных идей Хайдеггера (в контексте данной статьи для нас важна именно интерпретация Глендиннинга, так как на ней и строится его исследование интересующего нас вопроса), стоит отметить, что британский исследователь наиболее положительно оценивает критику Хайдеггером субъект-объектного дуализма и утверждение о *Mitsein* (по сути, это «бытие с другими») как о неотъемлемой части человеческого бытия, а не о чем-то таком, что мы можем

отбросить, оставив себя в мире в скептическом одиночестве. Однако и во взглядах Хайдеггера британский профессор подмечает момент, который, с его точки зрения, способствует сохранению угрозы скептицизма, а именно особую форму хайдеггеровского гуманизма и ограничение сферы, охватываемой *Mitsein*, исключительно людьми.

3. Критика гуманизма и натурализма. Разделение феномена языка на «идеальный смысл» и частные случаи употребления слов. Перед тем как приступить к рассмотрению критики Хайдеггера Глендиннингом и следующей из нее критики широко распространенной в философии теории языка, необходимо упомянуть неприятие автором двух основных подходов философской мысли к природе человека: *классического гуманизма* и «грубого» *натурализма (bald naturalism)*, под которым, скорее всего, автор подразумевает редукционизм.

«Грубый» натурализм сводит поведение человека к физиологическому, внешнему его проявлению. По сути, данная позиция ничем не отличается от скептической и полностью ее поддерживает, поскольку предполагает сомнение и вытекающее из него отрицание скептиками чего-либо за внешним поведением человека, а также ставит под вопрос особый статус живого существа по сравнению с другими окружающими его объектами.

Однако больше внимания британский философ уделяет критике гуманизма, причем как в классическом, так и в хайдеггеровском его понимании, в том числе за их принципиальный *антинатурализм*, стремление приписать человеку некие уникальные для него внутренние свойства и за выводимое из этих двух моментов, необоснованное, с точки зрения автора, утверждение о «пропасти» между людьми и другими живыми существами. Одним из оснований жесткого разграничения животных и людей является наличие у людей языка, а точнее, некоторых ключевых особенностей, делающих человеческий язык уникальным. Подробнее о том, какую роль играют язык и языковые способности для утверждения кардинального различия животных и людей, пишет, например, Эрик Нельсон (Erik Nelson) в своей статье «То, что Фреге спросил у попугая Алекса: инференциализм, понятие о числе и познание животных» («What Frege asked Alex the Parrot: inferentialism, number concepts, and animal cognition»), приводя в качестве примера попугаев и ставя вопрос об осмысленности их речи, а также их способности владеть концептами (Nelson 2019: 206-207).

В связи с критикой антинатурализма гуманистов Глендиннинг обращается к Жаку Деррида и его концепции деконструкции. В данной статье для нас наиболее интересны следующие идеи британского философа, вытекающие из его анализа положений Деррида, а также других авторов, взгляды которых играют, впрочем, скорее «вспомогательную» роль. Во-первых, это идея необходимости преодоления установки традиционной философии, которая обозначается как *идеал точности («ideal of exactness»)*. Свое начало данный феномен берет в философии Аристотеля. Смысл его заключается в утверждении о том, что в идеале слово должно иметь только одно верное, истинное значение. Во-вторых, это критика расчленения феномена языка на «идеальный смысл» и частные случаи употребления

слов, вытекающего из так называемого идеала точности. Это, в свою очередь, ведет к тому, что правила выводятся за рамки языка, употребление которого они должны регулировать, хотя, с точки зрения автора, подобный ход необоснован. В-третьих, это идея распространения ключевых особенностей природы письма на все остальные формы коммуникации. Другими словами, Глендиннинг предлагает нам «читать» поведение других. В связи с этим одним из главных свойств как письма, так и человеческого и животного поведения представляется профессору их принципиальная читаемость, даже при отсутствии какого-либо конкретного «читателя» или «автора», их итерабильность. Человек не способен «прочитать», по мнению Глендиннинга, только поведение гипотетического пришельца из других миров, с которым он никогда не сталкивался.

4. Понимание критериев как ответа на вопрос о реальной сущности того или иного явления. Обращаясь к идеям Людвиг Витгенштейна о критериях, британский исследователь критикует прочтение, предполагающее, что основная цель критериев – это дать нам обоснования того, что «*не-что на самом деле является p*». Именно из-за такого понимания сущности и роли критериев, как полагает Глендиннинг, остается несовершенным и уязвимым для угрозы скептицизма подход к решению проблемы другого сознания, предлагаемый Дж.Г. Макдауэллом (John H. McDowell). Последний опирается на так называемый критериальный подход и интерпретацию сути критериев как «пути к тому, чем что-то является (на самом деле)» (McDowell 1983: 470). В таком случае критерии все равно остаются внешними признаками внутренних ментальных состояний человека или животного. При этом утверждения об их взаимосвязи могут показаться, с точки зрения гипотетического скептика, недостаточно обоснованными или же вовсе необоснованными.

IV. Рефрейминг скептицизма и концепция чтения – ответа. В результате исследовательской работы Глендиннинг формулирует собственную концепцию *чтения – ответа* (*reading – responce*), которая, по его утверждению, может отвести от нас угрозу скептицизма. В основе ее лежит критериальный подход, который сам по себе не является изобретением Глендиннинга, однако философ вносит в него одно значительное изменение. Как мы уже упоминали, суть критериального подхода прослеживается в самом его названии, а именно в рассмотрении критериев как основания суждений о том, чем является нечто. Например, главный критерий того, что студент является отличником – это отсутствие у него любых других оценок за экзамены и зачеты, кроме оценки «отлично». Подобного рода ход рассуждения, с точки зрения «критериалистов», дает нам достаточные основания для суждений о внутренних ментальных состояниях человека. Другими словами, мы должны искать ответ на вопрос «*Каковы удовлетворительные критерии того, что p?*» («*When is an event a (satisfied) criterion of p?*»). Глендиннинг замечает, что такая формулировка вопроса не может избежать возражений скептика. Взамен этого он предлагает нам уточнить вопрос: «*Каковы случаи ответа на поведение человека как на p?*» («*When it is an occasion of response*

as to an expression of *p*»). То есть критерии, согласно концепту британского философа, призваны не обосновать наши суждения о подлинной сущности ментальных состояний другого, но дать нам ориентиры для уместного и адекватного ответа на данное поведение. В качестве примера автор приводит ситуации с болью и звуками, которые человек издает при полоскании горла. Несмотря на то что звуки эти иногда похожи на те, которые издает человек, испытывающий боль, мы не действуем так же, как если бы тот, кто полощет свое горло, действительно испытывал боль.

При этом, с точки зрения автора, поведение человека обладает итерабельными чертами, то есть, читаемость его, человеческого, поведения является основой нашего взаимодействия друг с другом. В определенном смысле можно сказать, что решение, предлагаемое Глендиннингом, снимает саму проблему другого сознания как минимум в самом распространенном ее понимании, так как, по сути, сама ее постановка неизбежно ведет нас к угрозе скептицизма. Любая попытка ответить на вопрос о подлинности ментальных состояний человека и обоснованности наших суждений о них порождает угрозу скептицизма, так как подразумевает отделение действий человека и его поведения как «внешних» от их «внутренних предпосылок», поскольку связь между ними неочевидна. При этом, обосновывая свою аргументацию на тех же базовых теоретических положениях и допущениях, что и скептицизм, мы оказываемся бессильны в попытках его опровергнуть.

Однако может возникнуть вопрос о том, как быть, например, со случаями, когда боль может быть имитирована? С точки зрения автора концепции, нет необходимости жестко разграничивать ситуации настоящей боли и боли мнимой. И в том, и в другом случае мы имеем удовлетворительные критерии для ответа на такое поведение, как на боль. Но как мы узнаем, что наш ответ не будет ответом на притворство? Для того, чтобы попытаться прояснить позицию автора по этому вопросу, приведем небольшую цитату. Он пишет: «...это не вопрос о знании чего-то, что “даёт право сказать”, что *p*, потому что это – вовсе не вопрос о знании» (Glendinning 1998: 144). То есть это не вопрос о знании о том, что мы имеем дело именно с *p*, но вопрос об ответе на поведение как на *p*, без оглядки на то, является ли *p* реальным или мнимым. Оба случая, по словам автора, удовлетворяют критериям идентификации поведения человека в качестве, например, боли, и дают достаточные основания для реакции на это поведение как на проявление боли. Таким образом, мы, например, не можем говорить о наделении даже условным *p* растений или компьютеров (в подавляющем большинстве случаев), так как в их случае мы не встречаем удовлетворительных критериев для ответа как на *p* в их поведении.

Нельзя не упомянуть, что Глендиннинг настаивает на мысли о необходимости чтения – ответа также и для идентификации нашего собственного поведения, так как *в собственном случае ничего не читается*. Эта позиция напоминает идеи, которые высказывает Ж.-П. Сартр в «Бытии и ничто», приводя в качестве примера роль других в определении нас как *подсматривающих в замочную скважину*. Нам представляется, что подобная помощь в самоидентификации со стороны других может проявиться как минимум,

в трех случаях. Во-первых, в процессе освоения языка: для того, чтобы как-либо обозначить наше ментальное состояние, мы должны знать слово, которым оно обозначается. Один из самых явных критериев того, что вам больно – это сказать об этом. Судя по всему, Глендиннинг вовсе не отбрасывает и этот критерий. Во-вторых, мы не всегда можем сами наблюдать внешние признаки, или критерии того или иного нашего состояния. Некоторые из них видны только «со стороны». Например, выражение нашего лица. И, в-третьих, другие позволяют нам найти определение состояниям, с которыми мы сталкиваемся впервые и которые не обязательно столь очевидны, как боль или жажда. Пример тому – первая в жизни влюбленность. Некоторые признаки или критерии ее хоть и могут для влюбленного (влюбленной) быть относительно очевидными, тем не менее он (она), как правило, не понимает того, признаками и критериями чего именно они являются. В таких ситуациях зачастую именно старшие помогают юным влюбленным дать общее определение данному комплексу эмоций и ощущений и даже выработать модель поведения, которую объект влюбленности с большей вероятностью *прочитает* как проявление симпатии, а не чего-либо иного. Более того, даже случаи болевых ощущений зачастую требуют внешней интерпретации и прочтения в определенном контексте, чем, собственно, во многом и занимается медицина.

Каким образом мы определяем те или иные критерии, которые являются достаточными для того, чтобы мы могли ответить на него так, а не по-другому? Сам Глендиннинг, судя по примеру с полосканием горла, считает, что решающую роль в этом вопросе занимает контекст. Но каков источник нашего умения *вычитывать* удовлетворительные критерии в поведении другого и распознавать различные его контексты? Позиция самого британского профессора по этим вопросам, к сожалению, представляется нам не совсем ясной. Однако нам кажется, что обращение к другой гипотезе поможет прояснить для нас эти моменты, даже если для этого придется произвести определенную модификацию позиции самого Глендиннинга.

V. Концепция чтения – ответа и «народная психология». С нашей точки зрения, некоторые идеи Глендиннинга смотрелись бы весьма органично в соединении с таким подходом, как «народная психология», о которой, например, упоминает в своей статье «Методология социально-гуманитарных наук и проблема “другого сознания”» В.П. Филатов (Филатов 2005). В подходе, описываемом Филатовым, обнаруживаются как минимум два основания наших суждений о поведении других. Во-первых, мы, взаимодействуя с другими, постоянно выдвигаем мини-гипотезы относительно наших предположений о ментальных состояниях других, и по мере взаимодействия с ними их либо подтверждаем, либо опровергаем. Во-вторых, процесс подобного рода познания других не является делом сугубо индивидуальным. В этом процессе мы постоянно опираемся на опыт других людей, а именно на накопленный за столетия опыт «народной психологии», которая, в свою очередь, есть часть *здравого смысла*. Главным преимуществом подобного, накопленного веками, опыта, по словам автора,

оказывается практическая работоспособность: без такого рода опыта люди вовсе не смогли бы жить друг с другом в обществе и как-либо друг с другом взаимодействовать. Если использовать терминологию Глендиннинга, необходимость *читать* поведение других предполагает существование тех, кто нас этому чтению научит. Сам британский исследователь в конце своей книги утверждает, что ответ другому предшествует любым осознаваемым аргументам и доказательствам. В определенном смысле и процесс чтения текста со временем также «автоматизируется». При этом мы сталкиваемся с серьезными затруднениями при встрече со «словами-пришельцами», которые абсолютно чужды нашему предыдущему опыту и значение которых не проясняется контекстом; таким же образом мы бы оказались затруднены в вопросе прочтения и интерпретации поведения гипотетического пришельца.

Однако некоторые положения концепта «чтение – ответ» также могут быть использованы для модификации подхода, описанного Филатовым. Дело в том, что, судя по всему, предложенный последним метод преследует вполне эпистемологическую цель, а именно поиск механизмов обоснования наших знаний о ментальных состояниях других. Если же обратиться к повседневному опыту, к которому также апеллирует Филатов, то мы скорее склонимся к мнению о том, что во взаимодействии с другими ключевую роль играет процесс чтения – ответа: мы пытаемся прочесть поведение другого, даем на него тот или иной ответ и наблюдаем за тем, как наш ответ будет прочитан, проинтерпретирован другим, а также ожидаем, какой ответ мы в итоге получим. Именно из этого мы можем сделать вывод о том, была ли наша попытка чтения – ответа удачной или нет. Таким образом, идея опыта и знаний, которые мы получаем и самостоятельно, и в процессе взаимодействия с накопленным в обществе запасом знаний о взаимодействии людей друг с другом, делает концепцию британского философа немного яснее, поскольку дает весьма неплохой вариант ответа на вопрос об источнике нашего умения выполнять операцию «чтение – ответ».

VI. Фредерик Олафсон и роль коммуникации с другими для познания и скептицизма. Не менее интересный подход к критическому пересмотру оснований проблемы другого сознания (в качестве исключительно эпистемологической проблемы) мы можем найти в работе почетного профессора философии Калифорнийского университета Фредерика Олафсона (Frederick A. Olafson) «Хайдеггер и основание этики: учение о Mitsein» («Heidegger and the Ground of Ethics: A Study of Mitsein»). Он, опираясь на идеи того же Хайдеггера, уже по-другому подходит к критике оснований рассматриваемой нами теоретической проблемы, а именно с точки зрения необходимости другого для познания окружающей нас реальности. Как мы знаем, одним из оснований проблемы другого сознания является то, что окружающие нас вещи, такие как стулья, столы, ручки, деревья и т.д., даны нам непосредственно, или относительно непосредственно, через наши ощущения. С другой стороны, ментальные состояния другого дают нам о себе знать исключительно косвенно, посредством внешних по отношению

к ним актов поведения. Однако, как замечает Олафсон, *мы не могли бы познать окружающую нас реальность без опоры на опыт познания ее другими*. То есть, другими словами, признание реальности непосредственно данных нам объектов невозможно без предварительного признания реальности другого в качестве нашего помощника в деле познания окружающего мира (Olafson 1998: 19-27). Чтобы прояснить этот момент, мы обратимся к истокам того, что можно назвать скептицизмом в классическом понимании, а точнее говоря, к идеям античных скептиков. Одним из оснований их первоначального скептицизма являлось именно предположение о том, что разные живые существа и разные люди зачастую воспринимают одни и те же вещи по-разному. Именно это утверждение мы находим в первом и втором знаменитых *скептических тронах*, систематизированных Секстом Эмпириком (Секст Эмпирик 1976: 215-225). То есть, по сути, один из постулатов скептицизма относительно достоверности нашего знания об окружающих нас вещах и окружающем мире – это признание того, что другие люди способны так же, как и мы, познавать и ошибаться в своем восприятии любого объекта. При этом скептики, сомневаясь в достоверности наших суждений о вещах, не сомневаются в том, что другие также воспринимают их и способны дать об этом отчет – и этому отчету можно верить. Или, вспоминая теорию Глендиннинга, мы можем сказать, что античные скептики начинают с того, что признают достоверность суждений типа (2b). Этот момент, с нашей точки зрения, указывает на явное противоречие в самой постановке проблемы другого сознания: обоснованность нашего знания о вещах, которые даны нам якобы непосредственно, прямо зависит от того, каким образом эти вещи воспринимаются окружающими нас другими людьми. Также стоит отметить, что львиная доля информации, составляющей нашу картину мира, является результатом коммуникации с другими. Из этого вытекает, что последовательная и чисто эпистемологическая постановка проблемы о другом сознании может привести нас не только к скептицизму относительно реальности другого, но также к скептицизму относительно реальности мира вообще. Это, впрочем, тоже является своего рода снятием проблемы другого сознания: и ментальные состояния других, и чувственно воспринимаемые объекты уравниваются между собой в статусе иллюзорных явлений, суждения о которых невозможно обосновать в принципе.

В связи с этим мы вернемся к тому, о чем упоминали ранее, а именно к одному из самых, с нашей точки зрения, противоречивых аспектов постановки проблемы другого сознания в плане противопоставления *непосредственно данных чувственных вещей и опосредованно данного сознания другого и его познавательных способностей*. Например, из этой предпосылки исходит и постановка проблемы Глендиннингом. По сути, подобный подход полностью игнорирует социальный аспект познания. Самый простой и элементарный пример того, что другой может сыграть значительную роль в нашем познании окружающей действительности, – это вопрос установления различия между галлюцинацией и реальностью. Например, если мы видим, что по столу ползает таракан, но другие утверждают обратное, то, скорее всего, мы сочтем это игрой нашего воображения.

Мы можем попробовать его поймать, но каковы гарантии того, что наша галлюцинация не затрагивает все наши органы чувств? Более того, на начальных этапах нашей жизни, о чем, кстати, упоминает и Олафсон, именно другие знакомят нас с окружающими нас вещами. Следовательно, так или иначе все окружающие нас объективно существующие и воспринимаемые предметы и явления, если можно так выразиться, несут на себе отпечаток взгляда другого – конечно же, если мы согласны с тем, что одним из критериев объективности является определенная степень интересубъективности.

VII. Этические аспекты проблемы другого сознания. Рассмотрев некоторые трудности, возникающие при чисто эпистемологической постановке проблемы другого сознания, мы обратимся к тому аспекту, о котором упоминали в самом начале, а именно к *этическому аспекту*. Но каким образом он может проявить себя в рамках рассмотренных нами теорий и концепций?

1. Проблема выбора ответа на прочитанное нами поведение. Как мы упоминали, идея социального контекста как источника наших представлений о возможных вариантах ответа на то или иное прочитанное нами поведение другого делает концепцию Глендиннига чуть более ясной. Однако и в этом случае наш ответ зачастую не всегда предопределен, например когда он не регулируется правом. Допустим, мы видим, что какой-то человек лежит на улице и тихо стонет. Критерии, которые мы наблюдаем, удовлетворяют предположению о том, что он плохо себя чувствует и, возможно, даже находится в опасности. Но какое именно решение мы примем? Должно ли влиять на наш возможный ответ знание о возможной ошибке в прочтении поведения человека (быть может, он не нуждается вовсе в нашей помощи)? Как поступить, если мораль требует одного ответа, а законы – другого? Вопрос о том, какой именно ответ на прочитанное поведение другого мы предпочтем, уже выходит за рамки чисто эпистемологической постановки проблемы другого сознания, и в нем проявляются те аспекты *бытия с другим*, которые мы можем обозначить как этический и социально-философский.

2. Проблема доверия и мнимая боль. Начнем с того, что, судя по всему, асимметрия в восприятии, о которой писал Хайсlop, представляется непреодолимой. Более того, попытки ее преодоления, по сути, основаны на игнорировании иного, а именно онтологического, аспекта проблемы *другого сознания и бытия с другим*: сама особенность нашего бытия, или бытия нашего сознания, с большой долей вероятности предполагает наличие этой непреодолимой асимметрии. В определенном смысле угроза скептицизма, по Глендиннингу, может быть проинтерпретирована нами как симптом этой проблемы. Мы, при всем желании, не сможем взглянуть на мир глазами другого, если под глазами, конечно же, понимать не органы зрения, которые, в теории, можно пересадить, но такие явления, как индивидуальный жизненный опыт и т.д. И, тем более, мы не сможем, как минимум в наше время, читать чужие мысли и чувства, намерения и т.д. напрямую посредством телепатии.

Из этого неизбежно следует, что мы не можем полностью исключить вероятность того, что другой в этот конкретный момент времени может симулировать, например, боль или любовь к нам и т.д. В связи с этим на ум приходит уже не раз упомянутый в нашей статье Иммануил Кант и его призыв действовать так, чтобы максима нашего поступка могла бы стать всеобщим законом (Кант 1994b: 409). Если все будут симулировать боль в своих интересах (допустим, чтобы получить страховку или больничный), то подобная симуляция будет рассматриваться не как исключение из правила (или повод для философских баталий вокруг проблемы *другого сознания*), но как негативная норма и отвечать на проявления боли начнут соответственно, то есть игнорировать их или вовсе осуждать за них. Таким образом, онтологический (характеристики бытия человека и его сознания) и эпистемологический (проблематичность непосредственного получения знания) аспекты нашего *бытия с другим* могут стать основанием для требования, например, воздерживаться от лжи и симуляции, которое, как нам кажется, уже затрагивает этический аспект проблемы этого бытия с другим, составной частью которой является проблема другого сознания.

3. Проблема доверия и роль другого в познании. В этой связи мы можем вспомнить об уже существующей «отраслевой» этике, а именно об этике науки. Судя по кейсам, которые разбирает доцент кафедры философии и директор Центра развития этики при Университете штата Вайоминг Дэвид Б. Ресник (David B. Resnik) в своей работе «Этика науки. Введение» («The Ethics of Science. An Introduction»), одной из наиболее значимых в этой области является проблема доверия результатам тех или иных исследований и ученым, их проводившим (Resnik 2005: 1-14). Мы считаем, что к числу возможных оснований этой проблемы можно отнести нашу зависимость от информации, которую мы получаем от других. В вопросе отношений между наукой и обществом этот аспект встает особенно остро, так как далеко не все рядовые любители науки и обыватели могут самостоятельно проверить истинность или ложность тех или иных утверждений или высказываний представителя научного сообщества. В этом проявляется особенность того, что можно называть *бытием в мире с другими*: хотим мы того или нет, но наша картина мира не может сложиться без опоры на опыт познания мира другими, например нашими предшественниками. В связи с этим, как показывает нам этика науки (и необходимость существования таковой), с одной стороны, возникает проблема доверия в познании, а с другой – требование воздерживаться от лжи и тщательно относиться к обоснованию тех или иных своих утверждений, высказываний, результатов исследований и т.д. Если бы подобные требования не соблюдались, скорее всего, ни одна из форм коллективного и более-менее организованного исследования окружающей нас реальности не могла бы существовать.

При этом стоит отметить, что пересечение этики и эпистемологии не является чем-то диковинным. Об этом свидетельствует возникновение и развитие такой области философии, как *эпистемология добродетелей*, которой, например, посвящена научная монография доцента Казанского федерального университета А.К. Каримова (Каримов 2019). Как нам

представляется, и этика философии, и эпистемология добродетелей могут быть проанализированы через призму тех аспектов нашего бытия с другим и коммуникации с другими (в том числе, познавательной), о которых мы упоминали ранее в нашей статье.

Заключение. Концепции, предлагаемые Саймоном Глендиннингом и Фредериком Олафсоном, показывают, что попытки решения проблемы другого сознания исключительно с эпистемологической точки зрения приводят к серьезным затруднениям, в том числе и эпистемологического характера (возникает вопрос о возможности обосновать наше знание об окружающих нас объектах в ситуации отсутствия *других сознаний* или *других познающих субъектов*), а также порождают угрозу скептицизма. Одним из наиболее значительных упущений подобного, чисто эпистемологического, подхода является, как следует из некоторых формулировок самой проблемы другого сознания, игнорирование роли *другого* в процессе познания нами окружающей действительности. Особенности нашей познавательной коммуникации с другими порождают ряд проблем, которые, как мы убедились, частично затрагивают сферу этики.

Однако способны ли мы использовать выявленные нами аспекты проблемы *другого сознания* и *бытия с другим* в качестве теоретической призмы, через которую целесообразно исследование традиционных вопросов этики, или как минимум некоторых ее отраслей? Уже упомянутый ранее Олафсон, например, заявляет о необходимости рассмотрения онтологических, гносеологических и социальных характеристик бытия человека с другими в качестве гипотетически вероятных теоретических оснований этики. Если это возможно, то наиболее необходимым и полезным подобный, альтернативный, взгляд на основания этики представляется нам в тех областях жизни человека, которые чаще всего воспринимаются не в качестве сферы взаимодействия конкретных людей между собой (или их бытия друг с другом), но как сферы взаимодействия обезличенных идей, аргументов, гипотез и теорий, а именно в областях науки и философии. И если этика науки уже существует, то идея об этике философии или этике философской коммуникации представляется куда более проблематичной в силу самой формулировки этого термина. Например, будет ли этично по отношению к аналитической философии, если общие правила взаимодействия между философами будет устанавливаться на предпосылках, утверждаемых их «континентальными» коллегами? Эти и прочие вопросы и трудности, с нашей точки зрения, нуждаются в подробном рассмотрении, что представляется невозможным без теоретического допущения возможности правдоподобного обоснования самого права на существование такой области этики, как этика философии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Гатри У.К.Ч. 2015. История греческой философии. В 6 т. Т. 1. Ранние досократики и пифагорейцы. Санкт-Петербург : Владимир Даль. 863 с.

- Гусейнов А.А. 2001. Золотое правило нравственности // Новая философская энциклопедия : в 4 т. Москва : Мысль. Т. 2. С. 55-57.
- Декарт Р. 1950. Начала философии // Р. Декарт. Избранные произведения. Москва : Госполитиздат. С. 408-544.
- Кант И. 1994а. Благая весть о близком заключении договора о вечном мире в философии // И. Кант. Собрание сочинений : в 8 т. Москва : Чоро. Т. 8. С. 246-262.
- Кант И. 1994b. Критика практического разума // И. Кант. Собрание сочинений : в 8 т. Москва : Чоро. Т. 8. С. 372-565.
- Кант И. 1994с. Критика чистого разума // И. Кант. Собрание сочинений : в 8 т. Москва : Чоро. Т. 3. С. 1-741.
- Кант И. 1994d. Основоположения метафизики нравов // И. Кант. Собрание сочинений : в 8 т. Москва : Чоро. Т. 4. С. 154-246.
- Каримов А.Р. 2019. Эпистемология добродетелей : науч. моногр. Санкт-Петербург : Алетейя. 428 с.
- Сартр Ж.-П. 2000. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. Москва : Республика. 639 с.
- Секст Эмпирик. 1976. Три книги Пирроновых положений // Секст Эмпирик. Сочинения : в 2 т. Москва : Мысль. Т. 2. С. 207-380.
- Филатов В.П. 2005. Методология социально-гуманитарных наук и проблема «другого сознания» // Epistemology & Philosophy of Science. № 3(5). С. 72-82.
- Austin J.L. 1962. Sense and Sensibilia. Oxford : Oxford Univ. Press. 144 p.
- Glendinning S. 1998. On being with others: Heidegger, Derrida, Wittgenstein. London : Routledge. 173 p.
- Hyslop A. 1995. Other minds. Dordrecht : Kluwer. 159 p.
- Malcolm N. 1958. Knowledge of other minds // The Journal of Philosophy. Vol. 55, № 23. P. 969-978.
- McDowell J. 1983. Criteria, defeasibility, and knowledge // Proceedings of the British Academy. Oxford : Oxford Univ. Press. Vol. 68. P. 455-479.
- Mill J.S. 1867. An examination of sir W. Hamilton's philosophy. London : Longmans. 561 p.
- Nelson E. 2019. What Frege asked Alex the parrot: inferentialism, number concepts, and animal cognition // Philosophical Psychology. Vol. 33, № 2. P. 206-227.
- Nichols S., Stich S. 2003. How to read your own mind: A Cognitive Theory of Self-Consciousness // Consciousness: New Philosophical Perspectives. Oxford : Energiia. P. 157-200.
- Olafson A.F. 1998. Heidegger and the ground of ethics: a study of Mitsein. Cambridge : Cambridge Univ. Press. 108 p.
- Resnik B.D. 2005. The Ethics of Science. An Introduction. London ; New York : Routledge. 198 p.

Salawat R. Murtazin, Kazan State University, Kazan, Russia

E-mail: murtazin.salawat2013@yandex.ru

Article recived 27.06.2020, accepted 16.10.2020, available online 11.01.2021

The Problem of Other Minds: “Threat of Skepticism” and Possible Ways to Overcome it (on the Example of Simon Glendinning and Frederic Olafson’s Concepts)

Abstract. This article is dedicated to one of current problems in modern philosophy: the problem of other minds. It turns out to be characteristic of the “analytical” and “continental” traditions in philosophy. We believe that this problem has not only an epistemological or ontological aspect, but also an ethical one, and the results of its development should not be ignored when solving the problem of searching for ethical foundations. To confirm this assumption, we have done the following: First, we consider the very essence of the problem of other minds in Alec Hyslop and Simon Glendinning’s approaches to its formulation. This problem is based on the asymmetry between the perception of our mental states and the perception of the mental states of others. Second, we have briefly discussed one of the best-known approaches in solving this problem, namely, argument by analogy. According to this theory, we base our judgments on the feelings and experiences of others on the analogy with our own feelings and experiences, and their manifestation in our behavior. We also consider possible critical approaches of this theory. Third, we run into extremely serious difficulty in solving the problem of other minds, namely the “threat of skepticism”. We encounter an extremely serious difficulty in solving the problem of another consciousness, namely, the “threat of skepticism”. It consists in the fact that we do not have a reliable means to justify satisfactorily the existence of something that supports the “external” acts of human behavior, such as feelings of pain. We have considered two approaches that, in fact, do not refute the skepticism arguments, but avoid the very appearance of their threat. These are Simon Glendinning’s concepts of “reframing of skepticism” and “reading-response”, as well as the idea of the need to recognize the reality of the other by the possibility of knowing the reality that surrounds us, presented by Frederick Olafson. These approaches in order to overcome the “threat of skepticism”, suggest a rejection of the traditional purely epistemological approach to solve the problem of other minds, which was characterized by an emphasis on the problematic relationship between our knowledge of the other’s mental states and reality of its existence. The fight against the “threat of skepticism”, as well as the contradictions that such skepticism generates, in fact, lead us to the need to study the ethical aspect of being with others, which cannot be considered without epistemological and ontological aspects.

Keywords: other; consciousness; being with others; skepticism; epistemology; analogy; reframing of skepticism; criteria; deconstruction; ethics.

For citation: Murtazin S.R. *Problema drugogo soznaniya: ugroza skeptitsizma i vozmozhnye puti ee preodoleniya (na primere kontseptsiy Saymona Glendinninga i Frederika Olafsona)* [The Problem of Other Minds: “Threat of Skepticism” and Possible Ways to Over-come it (on the Example of Simon Glendinning and Frederic Olafson’s Concepts)], *Antinomii=Antinomies*, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 24–44. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10402. (in Russ.).

References

- Austin J.L. *Sense and Sensibilia*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1962, 144 p.
- Descartes R. *Nachala filosofii* [Selected works, Principles of Philosophy], *R. Dekart. Izbrannye proizvedeniya*, Moscow, Gospolitizdat, 1950, pp. 408-544. (in Russ.).
- Filatov V.P. *Metodologiya sotsial'no-gumanitarnykh nauk i problema “drugogo soznaniya”* [Methodology of Social and Human Sciences and the Problem of «Other Minds»], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2005, no. 3(5), pp. 72-82. (in Russ.).
- Glendinning S. *On being with others: Heidegger, Derrida, Wittgenstein*, London, Routledge, 1998, 173 p.
- Guseynov A.A. *Zolotoe pravilo npravstvennosti* [Golden Rule], *Novaya filosofskaya entsiklopediya : v 4 t*, Moscow, Mysl', 2001, vol. 2, pp. 55-57. (in Russ.).

Guthrie W.K.C. *Istoriya grecheskoy filosofii. V 6 t. T. 1. Rannie dosokratiki i pifagoreytsy* [A History of Greek Philosophy, in 6 vols. Vol. 1. The earlier presocratics and the pythagoreans], St.-Petersburg, Vladimir Dal', 2015, 863 p. (in Russ.).

Hyslop A. *Other minds*, Dordrecht, Kluwer, 1995, 159 p.

Kant I. *Blagaya vest' o blizkom zaklyuchenii dogovora o vechnom mire v filosofii* [The announcement of the conclusion on a treaty on eternal peace in philosophy], *I. Kant. Sobranie sochineniy : v 8 t.*, Moscow, Choro, 1994, vol. 8, pp. 246-262. (in Russ.).

Kant I. *Kritika chistogo razuma* [Critique of Pure Reason], *I. Kant. Sobranie sochineniy : v 8 t.*, Moscow, Choro, 1994, vol. 3, pp. 1-741. (in Russ.).

Kant I. *Kritika prakticheskogo razuma* [Critique of Practical Reason], *I. Kant. Sobranie sochineniy : v 8 t.*, Moscow, Choro, 1994, vol. 8, pp. 372-565. (in Russ.).

Kant I. *Osnovopolozheniya metafiziki npravov* [Groundwork of the Metaphysics of Morals], *I. Kant. Sobranie sochineniy : v 8 t.*, Moscow, Choro, 1994, vol. 4, pp. 154-246. (in Russ.).

Karimov A.R. *Epistemologiya dobrodetey* [Virtue epistemology], St.-Petersburg, Aleteyya, 2019, 428 p. (in Russ.).

Malcolm N. Knowledge of other minds, *The Journal of Philosophy*, 1958, vol. 55, no. 23, pp. 969-978.

McDowell J. Criteria, defeasibility, and knowledge, *Proceedings of the British Academy*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1983, vol. 68, pp. 455-479.

Mill J.S. *An examination of sir W. Hamilton's philosophy*, London, Longmans, 1867, 561 p.

Nelson E. What Frege asked Alex the parrot: inferentialism, number concepts, and animal cognition, *Philosophical Psychology*, 2019, vol. 33, no. 2, pp. 206-227.

Nichols S., Stich S. How to read your own mind: A Cognitive Theory of Self-Consciousness, *Consciousness: New Philosophical Perspectives*, Oxford, Energiia, 2003, pp. 157-200.

Olafson A.F. *Heidegger and the ground of ethics: a study of Mitsein*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1998, 108 p.

Resnik B.D. *The Ethics of Science. An Introduction*, London, New York, Routledge, 2005, 198 p.

Sartre J.-P. *Bytie i nichto: Opyt fenomenologicheskoy ontologii* [Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology], Moscow, Respublika, 2000, 639 p. (in Russ.).

Sextus Empiricus. *Tri knigi Pirronovykh polozheniy* [Outlines of Pyrrhonism], *Sekt Empirik. Sochineniya : v 2 t.*, Moscow, Mysl', 1976, vol. 2, pp. 207-380. (in Russ.).



Платонов Р.С. Моральная универсальность в этике классического утилитаризма (Иеремия Бентам, Джон Стюард Милль). DOI 10.24411/2686-7206-2020-10403 // Антиномии. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 45–64.

УДК 1(091):17.01

DOI 10.24411/2686-7206-2020-10403

Моральная универсальность в этике классического утилитаризма (Иеремия Бентам, Джон Стюард Милль)¹

Роман Сергеевич Платонов

кандидат философских наук, научный сотрудник
Института философии Российской академии наук
г. Москва, Россия.

E-mail: roman-vsegda@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2762-1328

ResearcherID: Q-5288-2016

ScopusID: 57194107394

SPIN-код: 1060-8877

*Статья поступила 17.08.2020, принята к печати 28.09.2020,
доступна online 11.01.2021*

Цель статьи – определить смыслы моральной универсальности в этике классического утилитаризма, установить их различия и связи, показать значение универсальности в утилитаристском методе морального расчета. Так как сама проблема моральной универсальности не ставилась в рамках утилитаризма, то есть не имеет ясной экспликации в каких-либо теоретических положениях, данное исследование проводится посредством контекстуального анализа слов, выражающих общность, таких как *universal, general, absolute, common* и т.п., употребляемых при описании моральных ценностей и правил в ключевых работах И. Бентама и Дж.С. Милля («Введение в основания нравственности и законодательства», «Утилитаризм», «О свободе»). В качестве отправной точки исследования берется общая классификация смысловых различий моральной универсальности, проведенная Р.Г. Апресяном: универсальность как абсолютность, как общераспространенность и как генерализация моральных ценностей и правил. Показывается, что оба философа так или иначе задействовали в своих рассуждениях все три смысла, но концептуально значимыми все три являются только в этике Дж.С. Милля. Абсолютность характеризует первичный принцип (принцип общей полезности) и определяет этику как знание, направленное на поиск моральной истины. Общераспространенность отражает изменчивость моральных ценностей

¹ Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта Российского научного фонда (РНФ) «Феномен универсальности в морали», грант № 18-18-00068.



© Платонов Р.С., 2020

и правил, их ограниченность локальным культурным опытом. Генерализация составляет сам метод морального расчета, посредством которого всякий поступок должен быть соотнесен с принципом общей полезности. При этом Дж.С. Милль, в отличие от И. Бентама, не отрицает значимость общераспространенности, дополняя ее «универсальным опытом», то есть опытом человечества как вида. Тем самым моральные ценности и правила раскрываются им не только в аспекте локальности и изменчивости, но и в аспекте фундаментальных навыков взаимодействия людей друг с другом, навыков построения всякой общности. Это же позволяет ему дополнить метод морального расчета генерализацией конкретных правил, не наделяя их статусом абсолютности, но признавая как важную эвристическую составляющую морального развития. Связь трех смыслов универсальности обнаруживается в выражении доминирования абсолютности – как моральной истины, общераспространенности – как признания и генерализации – как включения частного в общее, что в совокупности выражает претензии моральной оценки на приоритет перед любыми иными типами оценок и правил. На основании чего делается вывод, что проблематика универсальности является фундаментальной в разработке метода морального расчета, а также что в этике классического утилитаризма она раскрывается максимально полно.

Ключевые слова: этика, мораль, утилитаризм, универсальность, абсолютность, общераспространенность, универсализуемость, генерализация, И. Бентам, Дж.С. Милль.

В современной исследовательской литературе можно назвать господствующим взгляд на универсальность как специфический признак морали – моральных ценностей и высказываний. Однако в «обширном мировом дискурсе универсальности», как пишет Р.Г. Апресян, нет однозначного понимания этого феномена, его концептуализация варьируется по ряду аспектов: (1) «непререкаемости предъявления моральных ценностей к признанию и практической реализации», то есть абсолютности, что влечет за собой проблему их обоснования или же «беспредпосылочности»; (2) «актуальности для каждого морального агента», – то есть общераспространенности (общезначимости) моральных ценностей, что влечет за собой проблему определения, кого считать моральным агентом, а шире – проблему ограниченности конкретных моральных ценностей конкретным сообществом; (3) независимости моральных ценностей «от предпочтений и интересов», то есть генерализации (универсализуемости), что влечет за собой проблему соотношения частного и общего – поступка в конкретной ситуации и правила (нормы), а также проблему выводимости конкретных правил из общих принципов (Апресян 2014: 56-60). Согласно Р.Г. Апресяну, такая «неоднородность универсальности, по-разному проявляющейся в разных сферах морали», отражает «неоднородность проявлений самой морали», поэтому ее изучение невозможно «вне того или иного теоретического контекста» (Апресян 2016: 87). Руководствуясь этой методологической установкой, мы рассмотрим проблему моральной универсальности на материале этики классического утилитаризма. Моральная философия утилитаризма представляется в данном случае особенно перспективной, так как уже при первых попытках решить задачу осуществления морального расчета Иеремией Бентамом и Джоном С. Миллем затрагиваются темы абсолютно-

сти, общераспространенности и генерализации моральных высказываний и ценностей. Именно вопрос о роли универсальных правил в моральном расчете станет причиной разделения утилитаризма еще в первой половине XX в. на два направления – на утилитаризм правила и утилитаризм действия¹. В свою очередь, Джеймс Урмсон в своей знаменитой статье «Интерпретация моральной философии Дж. С. Милля» покажет, что утилитаризм правила оформляется уже в работах Милля (Urmson 1953). Хотя такая интерпретация регулярно оспаривается (Brink 2013: 84-85; Crisp 1997: 102; Turner 2015: 171-174), но имеет и своих убежденных сторонников (Brandt 1967: 57; Martin 2011: 31; Mondal 2016; Fuchs 2006: 144), при этом спор ведется не о том, корректен ли подобный ретроспективный подход, а о том, к какому из двух направлений отнести этику Милля (этика Бентама всегда интерпретируется как утилитаризм действия). Такое обращение утилитаризма к своим истокам не случайно, оно показывает, что проблематика моральной универсальности образует теоретический каркас утилитаристской этики с самого ее зарождения.

Общая логика концепций Бентама и Милля в обоих случаях понимается одинаково: человек по своей природе стремится к счастью; соответствие его деятельности данному стремлению есть полезность; таким образом, максимизация полезности – это задача деятельности; поскольку деятельность всякого человека осуществляется в обществе, то есть в неизбежной взаимной зависимости блага одного человека от блага другого, то максимизация полезности оказывается и фундаментальным – первичным – моральным принципом, а саму мораль формирует стремление не просто к счастью, а к счастью всего общества². Различие усматривается лишь в подходах к определению правильности конкретного морального действия, т.е. поступка. Бентам полагает исключительным ориентир на полезность – только она дает понимание хорошего и плохого, наполняет моральным смыслом слова «должное», «правильное» (Bentham 2000: 16). Милль же вводит дополнение – в своих расчетах индивиду необходимо ориентироваться также и на выработанные обществом ценности и нормы (вторичные принципы) (Mill 2015b: 137).

Дискуссия между сторонниками утилитаризма правил и утилитаризма действий и их интерпретации идей Бентама и Милля начались и развивались в основном по поводу генерализации (Smart 1967; Harsanyi 1978; Crisp 1997), что было обусловлено самой задачей морального расчета –

¹ Разделение начнется с обоснования Роем Харрордом большей эффективности морального расчета посредством проверки принципом полезности не конкретного действия, а моральных правил (Harrod 1936). Терминологически разделение было закреплено Ричардом Брандтом, хотя сам он не видел принципиальной разницы между этими направлениями (Brandt 1959: 380-396).

² Данную суперцель утилитаризма мы, по примеру Бентама, будем называть «принцип полезности»; это подразумевает и счастье, и то, что это счастье не только индивидуальное, или же, по примеру Милля, «первичный принцип, имея в виду существование «вторичных принципов», то есть моральных правил (Bentham 2000: 14-16; Mill 2015b: 117, 137-138).

установить соответствие поступка (предельно единичного) и первопринципа (предельно общего). Нашей же задачей является как можно более полная репрезентация морально значимых смыслов, выражающих общность; только так мы сможем увидеть все нюансы проблематики моральной универсальности и минимизировать искажения интерпретаций. По этой же причине мы не будем касаться вопроса эффективности самого метода морального расчета и можем даже согласиться как с критическими замечаниями Милля в отношении метода Бентама (чрезмерная сложность предлагаемого расчета), так и с критическими оценками метода уже самого Милля в связи с тем, что ему так и не удалось разработать моральную теорию, в которой принцип полезности непротиворечиво сочетался бы со «вторичными правилами» (Brink 2013: 98-103), а также что обращение к ним не снимает, как хотелось бы Миллю, затруднений морального расчета (Irwin 2009: 411-415). Для решения поставленной задачи будет проведен контекстуальный анализ употребления таких слов, как *universal, general, absolute, common* и т.п., при описании моральных правил, оценок и принципов в ключевых работах Бентама и Милля, на материале которых исследователи чаще всего анализируют их этику («Введение в основания нравственности и законодательства», «Утилитаризм», «О свободе»).

1. Моральная универсальность в работе И. Бентама «Введение в основания нравственности и законодательства». Морально значимый смысл *абсолютности* в рассуждениях Бентама прочитывается прежде всего в его анализе деятельности. Одним из способов различения поступков он называет критерий абсолютности, согласно которому некоторое деяние, а точнее недеяние, может пониматься «абсолютно или относительно / *absolutely or relatively*»¹ (Bentham 2000: 62). Например, мы либо ни при каких условиях не можем ударить человека, либо какого-то человека и когда-то все-таки можем. Хотя Бентам не переходит от поступков к правилам, но в соответствии с такой классификацией любое негативное предписание, то есть запрет поступка, также может быть либо абсолютным, либо относительным. Пара «абсолютно или относительно» используется Бентамом и для характеристики последствий действия по отношению к человеку – касающихся либо «непосредственно» его личности (жизни, здоровья и т.д.), либо вещей, которые нужны для поддержания жизни, здоровья и т.д., способствующих счастью (Bentham 2000: 160). В первом случае речь идет о том, что абсолютно значимо для счастья – абсолютная ценность, во втором – о том, что относительно значимо. На этих примерах видно, что в контексте рассуждений Бентама критерий абсолютности применим и к правилам, и к ценностям, причем такая абсолютность не самодостаточна – она требует столь же абсолютного обоснования. В частности, «абсолютная безнаказанность / *absolute impunity* (точнее, ненаказуемость. – *Р. П.*)» (Bentham 2000: 135) возможна лишь при «абсолютной произвольности действия» (Bentham 2000: 137), т.е. производимого исключительно причиной, не под-

¹ Здесь и далее через косую черту дается обозначение ключевого понятия (понятий) на языке оригинала.

властной человеку (Бентам называет такие причины физическими и приводит пример с рукой, прижатой к предмету, который человек не хотел трогать). Нас не должно смущать, что Бентам говорит об этом в контексте судебной практики, так как согласно логике самого Бентама у морали и законодательства основания одни и те же.

Необходимость обоснования вводит элемент гносеологической проблематики в моральную. Речь может идти о знании причин – если мы абсолютно знаем, что действие абсолютно таково (непроизвольно), то мы можем применить к нему абсолютное правило (непроизвольные действия не подлежат наказанию, видимо, как и одобрению, но такие случаи Бентам не рассматривает); а также и о знании следствий – если мы абсолютно уверены, что при данном наказании данное действие все равно будет выгодно совершить, то мы можем ужесточить наказание¹, то есть оценить действие как более плохое по его последствиям. Собственно, сама задача морального расчета порождена этой необходимостью. Бентам вполне осознает его сложность, отмечая, что «слабый и ограниченный ум обманывается, принимая в соображение только небольшую часть разных родов добра и зла». Но для него это не повод сомневаться в правильности самого подхода, ориентированного полностью на полезность, и он резко заявляет: «...если человек плохо считает, в этом виновата не арифметика, а он сам» (Бентам 1998: 32). Именно при детализации различных аспектов морального расчета у Бентама появляется еще один смысл моральной универсальности, закрепленный, как правило, за термином *universal*.

С помощью этого слова Бентам характеризует оценку поступка в ее связи с мотивом. Впрочем, эта «универсальная» оценка не постоянна – на примере мотива благочестия Бентам замечает, что убийство законного правителя по данному мотиву ранее одобрялось «почти повсеместно / *almost universally*», а теперь наоборот. Однако самоистязания с тем же мотивом никогда не имело подавляющего одобрения или осуждения – «в одном доме» одобряют, «в другом доме» осуждают (Bentham 2000: 90). Таким образом, видно, что под универсальным Бентам имеет в виду общераспространенное, при этом подразумевая и градации: все, почти все, некоторые (как бы это странно ни звучало, ведь получается, что нечто универсальное не исчерпывает универсум). Важный аспект – зависимость оценки от ситуации, а не от мотива, что сказывается и на интерпретации самого мотива, его неспособности составить конкуренцию принципу полезности. В некотором смысле в этом причина изменчивости подобного рода оценок – ситуации меняются, нет какой-либо константы для их определения. Например, Бентам отмечает, что сегодня законность играет большую роль, чем религиозность, законность не основана на религиозности. Бентам описывает ситуацию, прямо противоположную той, что рассматривал в свое время Фома Аквинский, для которого насильственное

¹ Бентам говорит о финансовых махинациях, выгода которых часто покрывает издержки от предусмотренных за них наказаний (Bentham 2000: 143).

свержение власти было приемлемо только по религиозным соображениям. На ситуацию влияет и отношение между моральными субъектами – ваши друзья склонны оценивать вас положительно и оправдывать, враги наоборот (Bentham 2000: 92). Причем независимо от степени общераспространенности оценка все равно претендует на некое доминирование, это та качественная характеристика, которая скрывается за количественной. В данном случае предельная общераспространенность создает иллюзию абсолютности предъявляемых требований и оценок. Показательно и то, что моральные оценки, на динамике распространенности и изменчивости которых делает акцент Бентам, возможны только как обобщенные (универсализованные) уже в смысле их собственной формы. Однако у Бентама можно найти только один случай, когда он говорит именно об универсальности самого высказывания. Все в тех же описаниях условий, при которых проступок не должен сопровождаться наказанием, он указывает на гарантированность адекватной компенсации, называя ее условием «идеальным... в его универсальности / *in the universality given to it*» (Bentham 2000: 135). В целом же ни общераспространенность моральных высказываний, ни обобщенность их формы не находят у Бентама положительного толкования или применения в моральном расчете.

Дополнительно отметим, что слово *universal* используется Бентамом и без какого-либо морального смысла для выражения частоты встречаемости чего-либо, в этом случае его синоним – *frequently* (частый), а антоним – *irregular* (нерегулярный) (Bentham 2000: 132). Так, монотеизм универсален среди «цивилизованных народов» (Bentham 2000: 115); религиозный мотив реже встречается, чем мотив мести, и т.п. Он использует его тогда, когда речь идет о распространенности каких-либо представлений вообще, не связанных с моралью, например о жестком разграничении областей гражданского и уголовного права (Bentham 2000: 224). То же касается и «универсальной юриспруденции» как специфического термина (Bentham 2000: 235). Если в свое время в изложении Самуэля фон Пуфендорфа она представляла собой именно *основы* юриспруденции, то есть фундаментальные понятия и положения юриспруденции как таковой, то Бентам делает акцент на распространенности ряда понятий (власть, право, свобода и т.д.) и схожести их смыслов в разных системах права в разных культурах (нациях) (Loring 2014). Собственно, в тексте Бентама группа употребления слов *universal*, относящаяся именно к описанию «универсальной юриспруденции», вторая по количеству (8 из 17 употреблений) после описания оценок поступка и мотивов. В случаях, когда речь идет о причинении ущерба, «универсальное» оказывается синонимом «публичного», «национального» и противоположно «частному» (Bentham 2000: 215). Иногда универсальное выступает как синоним целого в смысле исчерпанности, так, свою классификацию преступлений Бентам называет то «вся / *whole* система правонарушений», то «карта всеобщей / *universal* преступности» (Bentham 2000: 215-218).

Последнее, на что еще нужно обратить внимание для выявления смыслов универсальности, – это сам метод морального расчета, посред-

ством которого поступок проверяется на соответствие принципу полезности, то есть способ подведения частного под общее и осуществления тем самым **генерализации** (универсализации) как процедуры морального мышления. Особенность заключается в том, что здесь невозможно ориентироваться только на словоупотребление, поскольку речь идет не об элементе метода или значимом понятии, а о методе вообще. Однако некоторые термины помогают понять, что собой представляет генерализация в этике Бентама.

Как уже говорилось, Бентам не допускает никакого посредничества в виде правил между поступком и принципом полезности. Рассмотренный выше случай с произвольностью действия – исключение, возможное только потому, что фактически отрицается само наличие поступка, соответственно, отсутствует задача его обобщения. Изменчивость, локальность и разнородность правил не совместимы с задачей построения строгого научного метода моральной арифметики. Таким образом, весь расчет Бентам ориентирует на принцип полезности – ту самую абсолютно значимую константу. Хотя Бентам и не использует слово «абсолютный» для описания первопринципа, из контекста его рассуждений ясно, что только первопринцип обладает данной характеристикой. А все прочие соображения / *considerations* и предположения / *supposition* могут только более-менее приниматься во внимание, Бентам даже не пытается довести их до полноценных формулировок правил. Например, упоминая абсолютные обязанности / *absolute duties*, он указывает, что нет случаев, когда бы их утверждение исходило из принципа полезности (Bentham 2000: 210), что в системе Бентама автоматически лишает их смысла.

Анализируя текст Бентама, легко обнаружить, что основным понятием для описания соответствия или несоответствия поступка принципу оказывается **тенденция** / *tendency*¹, то есть степень того, насколько данный поступок максимизирует общую полезность или, наоборот, вредит ей. По сути, Бентам не просто включает понятие «тенденция» в метод определения морально правильного поступка, но делает его основой этого метода. Моральное содержание поступка эксплицируется как комбинация тенденций, способствующих и препятствующих достижению всеобщего блага. Поступок морально одобряется, если первое превосходит второе. Так что именно тенденция становится злой / *evil* или доброй / *good* (Mill 2015a: 15-19). При этом Бентам не дает детализации, неких условных таблиц определения тенденции, где сопоставляются все возможные плюсы и минусы, но только указывает, что нужно «суммировать все ценности всех удовольствий, с одной стороны, и всех страданий – с другой» по отношению к каждому человеку, чьи интересы затрагиваются данным поступком (Mill 2015a: 32-33). В результате мы получаем некоторую общую тенденцию / *general tendency* как разницу сумм добрых и злых тенденций (заметим, что для моральной оценки Бентам настойчиво пытается

¹ Слово *tendency* используется им более 100 раз и, в основном, в одном значении.

использовать только критерий количества). Абсолютный ориентир (первопринцип) «одобряет или не одобряет любое действие вообще в соответствии с тенденцией этого действия» (Mill 2015a: 14) (перевод наш. – Р. П.). Именно стремясь определить тенденцию поступка, Бентам переходит к задаче изучения последствий поступка, вычисляя в моральном расчете тенденцию как сумму последствий (Mill 2015a: 61). Тем самым он косвенно признает, что просчитать непосредственно сам поступок невозможно и оценка может быть дана лишь опосредованно – через последствия. Следовательно, генерализация в этике Бентама представляет собой выявление и проверку тенденции, а все консеквенциалистские расчеты являются лишь вспомогательными – важно лишь то, в какую тенденцию resultируются исчисляемые последствия.

Подводя предварительный итог, можем сказать, что анализ текста Бентама выявил три морально значимых смысла универсальности; это абсолютность первопринципа, общераспространенность ценностей и высказываний, генерализация как метод. Концептуально значимы для Бентама только абсолютность и генерализация; последняя осуществляется исключительно на основании первой.

2. Моральная универсальность в работах Дж. С. Милля «Утилитаризм» и «О свободе». Абсолютность в этике Милля также играет ключевую роль, о чем свидетельствует уже введение в «Утилитаризме», которое он начинает с изложения основной методологической проблемы моральной философии: «...отсутствие признанного первого принципа сделало этику не столько руководством, сколько отражением действительных человеческих чувств» (Mill 2015b: 117). Это препятствует решению главной задачи – определению «правильного и неправильного» в поступке (Mill 2015b: 115). Говоря о недостатках существующих моральных теорий, Милль не отказывается от самой установки – составлять «подробные доктрины из первых принципов» (Mill 2015b: 118). Он только подчеркивает, что для этого не требуется строгая выводимость таких доктрин, поскольку не требуется она ни в одной, даже самой точной науке. Милль, как и Бентам, считает, что именно утилитаристский подход обнаруживает настоящий фундаментальный принцип. Данный принцип назван им универсальным – *universal first principle*, а также общим основанием / *common ground*. В то же время он использует выражение «всеобщее принятие / *universal adoption*», говоря, что какое-либо правило принимают все. Таким образом, на первых же страницах «Утилитаризма» смысл универсального раздваивается на характеристику качества (абсолютность) и характеристику количества (общераспространенность). Ведь принцип полезности – это не принцип, который все признали, а принцип, который обращен к каждому и применим в любой ситуации. Впрочем, относительно него можно говорить и о признании / *acknowledged first principle* (Mill 2015b: 117). Очевидно, что, если не вводить различные термины, мы бы имели что-то вроде **универсальный универсальный принцип**, но Милль не замечает этого, ибо в соответствующих местах просто использует синонимы.

Моральный смысл абсолютности хорошо виден в рассуждениях Милля о справедливости. Критикуя «спекулятивные» концепции справедливости, он говорит, что она в них трактовалась как нечто абсолютное, полностью отличное от какой-либо целесообразности / *absolute – generally distinct from every variety of the Expedient* (Mill 2015b: 155), то есть получала статус фундаментального принципа. Справедливость для Милля – это лишь вторичный признак, следовательно, она не может быть абсолютной. Однако сама логика соответствия вторичного первичному, поступка принципу заставляет его говорить о градации, степенях такого соответствия. Отсюда правила справедливости как наиболее эффективно работающие на благополучие человека являются и более абсолютной обязанностью / *more absolute obligation*, то есть более сильными, значимыми, чем прочие (конечно, после проверки, отбора и корректировки с помощью принципа полезности) (Mill 2015b: 172); «более важны, а следовательно, более абсолютны и императивны / *more important, and therefore more absolute and imperative*»; так у Милля появляется оксюморон «более абсолютный», поскольку ни одно правило или класс правил не является *абсолютно абсолютным* «в частных случаях» (Mill 2015b: 177)¹. Отметим, что Милль часто вместо слова «правило» использует слово «стандарт» там, где избегает четких дефиниций и ограничиваться описанием той или иной точности и краткости (Mill 2015b: 174). Согласно Миллю, невозможно создать абсолютное правило / *absolute rule* (Mill 2015a: 110) для определения того, когда «пороки начинают преобладать над благами», при этом он предлагает некоторые «стандарты проверки», «практический принцип»². В итоге у Милля, как и у Бентама, моральная абсолютность оказывается связана с гносеологической: только в такой связке и возможна абсолютность в морали – как моральная истина.

Однако претензия на моральную истину столь же опасна, сколь необходима и сама моральная истина. Обладание ею (реальное или мнимое) проявляется как абсолютная уверенность / *absolute certainty* и становится причиной для отказа принять во внимание иное мнение, то есть абсолютное в данном случае полагается истинным (Mill 2015a: 19). Но, поскольку реальное, а не мнимое обладание моральной истиной, по Миллю, для человека весьма сомнительно, абсолютность в этом значении противопоставляется им ошибочности / *fallibility*, но при этом не приравнивается к безошибочности / *infallibility* (Mill 2015a: 21). Так что в полном смысле ни одно моральное правило и ни одна оценка не могут приниматься за моральную истину – именно приниматься. Можно быть уверенным в правильности своего мнения, но нельзя отказывать другому в возможности иметь мнение, отличное от вашего, каким бы «нечестивым» оно вам

¹ Примечательно, что у Бентама была схожая особенность употребления *universal*.

² Милль говорит об этом в контексте рассуждений о степени централизации власти. Стандартом в данном случае он называет *эффективность* – большую власть надо давать тому, кто может эффективнее ее использовать.

ни казалось. Здесь Милль самым очевидным образом пытается разделить гносеологический и социальный, даже политический, аспекты морали. Он не отрицает абсолютность морального знания, поэтому его нельзя назвать моральным релятивистом. В эссе «О свободе» он прямо говорит, что его цель – защита принципа, который должен «абсолютно управлять отношениями в обществе / *to govern absolutely the dealings of society*», и только необходимость самозащиты допускает ограничение чужой свободы (Mill 2015a: 12, 15). Следует учесть, что этот принцип, по его же словам, «прямо противоположен общей тенденции / *general tendency* существующего мнения и практики» (Mill 2015a: 16). Очевидно, что изменение «общей тенденции» (общей как общераспространенной, доминирующей) не может пониматься иначе, кроме как акт управления, осуществление власти. Но, с другой стороны, Милль подчеркивает, что в истории достаточно примеров, «когда рука закона была использована для того, чтобы искоренить лучших людей и самые благородные доктрины» (Mill 2015a: 25). Поэтому истинность какого-либо суждения не должна превращаться в *infallibility*, что в контексте не моральной теории, а моральной практики лучше переводить уже как «непогрешимость».

В связи с такой гносеологической ограниченностью особенно интересно описание абсолютности, которое дает Милль, смещая акценты с рационального, intersubjectивного, на внерациональное, скрытое в опыте: «...бесконечность и несоизмеримость со всеми другими соображениями, которые составляют различие между чувством правильного и неправильного и чувством обычной целесообразности и нецелесообразности. Эти чувства так сильны, и мы так положительно рассчитываем найти отзывчивое чувство в других (все они одинаково заинтересованы), что должны перерасти в необходимость, и признанная необходимость становится моральной необходимостью, аналогичной физической и часто не уступающей ей в связующей силе» (Mill 2015b: 167). В оригинале обязывающая сила абсолютности даже подчеркивается Миллем двойным выражением должного – *ought and should*. Но при этом – все же чувства, а не знание, смутная необходимость, а не истина. Всегда есть риск подмены или ошибки. **Распространенность** – почти всеобщая иллюзия / *all but universal illusion*» – способствует тому, что правила, сформировавшиеся в результате накопления опыта, предстающие как обычай, традиция, кажутся людям самоочевидными и самооправдывающимися / *self-evident and self-justifying* (Mill 2015a: 9), имея всеобщее признание / *universal recognition* (Mill 2015a: 44). Так Милль уже прямо проговаривает то, что у Бентама мы могли только вычитать из общего контекста рассуждений – общераспространенность претендует на статус абсолютности. Но у Милля, в отличие от Бентама, понятно, почему так происходит. Это не просто массовое заблуждение, случайность и т.п.; с одной стороны, моральная истина, которую должны содержать абсолютные принципы, не является результатом рационального реконструирования опыта, а вытекает из самого опыта (она выработана им и, даже не познанная, влияет на наши поступки), с другой стороны, она всегда должна быть принята. Принятие возможно либо посредством обоснования, ее рациональной экспликации

из опыта, что представляет собой крайне сложную задачу, либо посредством привыкания, создающей иллюзию самоочевидности, что не защищает от ошибки. Как следствие люди часто общераспространенное принимают за абсолютное. Возникает соблазн у того, кто знает истину (или думает, что знает) просто навязать ее.

Такое положение дел – тиски универсальности, в которые зажат поступок, один из основных мотивов защиты свободы слова у Милля, о которой он также говорит в категориях универсальности. Суверенитет индивида в отношении его тела и ума абсолютен / *absolute* (Mill 2015a: 13), частью его является и абсолютная свобода мнений / *absolute freedom of opinion* – никто не может требовать, чтобы вы отказались от своего мнения или перестали руководствоваться им в своей личной жизни (Mill 2015a: 17). Но все же в главном обосновании свободы мнений он обращается к универсальности самого принципа полезности. Его аргументация строится таким образом, что происходит разделение на «истину» (абсолютность) и «единодушные мира» (общераспространенность) – с добавлением важного нюанса: «даже если мир прав» (Mill 2015a: 48), то есть даже если абсолютность и общераспространенность какого-либо мнения совпадают. Таким образом, общераспространенность противопоставлена абсолютности и в ситуации, когда она выражает максимально правильную тенденцию и приближается к истине. Доминирование общераспространенности порождает «молчание меньшинства», что отражает саму суть этого вида универсальности, но это не победа истины. Не вдаваясь в подробности, как именно мнение меньшинств, по Миллю, должно способствовать приближению к истине (даже если такое мнение ошибочно), отметим главное – некое правило может быть принято абсолютно всеми, но при этом не быть абсолютным в своем содержании. В свою очередь, именно это положение Милль называет уже в гносеологическом смысле «универсальным фактом», то есть абсолютным, фактом. И этот факт определяет различие абсолютности и общераспространенности в морали. При этом сам Милль не задает данное различие на уровне терминов, снова употребляя «универсальность», «универсальный» для выражения как истинности, так и распространенности. Он как бы не замечает этого в разнообразии контекстов, но все же это проявляется в языке: «единодушные мира» в примере выше – просто метафора. Если бы Милль относился к слову «универсальность» как к термину, он сам объяснил бы разницу между понятиями «универсальность факта», «универсальная истина», «универсальное признание» и т.п. Нам же придется пройти еще чуть дальше в дифференциации смыслов, обратив внимание на особенность сказанного выше об «единодушии» уточнение «если мир прав» означает, что он может быть единодушен и ошибаясь; иначе говоря, подразумевается возможность двух состояний. И мы находим у Милля их описание. Правильному единодушию соответствует **универсальный опыт** / *universal experience* (Mill 2015a: 82) – именно он, согласно Миллю, исключительно и обязательно выражает правоту, приближение к истинной цели. Единство этого опыта соответствует основной гносеологической установке Милля – «закону существования единообразия», определяющей

его взгляд на любые явления (Субботин 2012: 10-11). Собственно, только поэтому и возможен универсальный принцип, представляющий собой результат индуктивного обобщения относительно единообразия такого ряда явлений, как человеческая деятельность. Этот опыт наработан развитием человечества вообще, на него не влияют локальные культурные особенности, превратности истории и проч.; он максимально общий – всеобщий. Он не зависит от того, насколько он изучен, скажем так – эксплицирован, а тем более учтен, принят большинством. Проблема как раз в том, что повсеместно поведение регулируется и оценивается не на основе универсального опыта; локальные культурно-исторические критерии формируют различные общности, именно ими руководствуется общественность / *public*, что проявляется в «цензуре», которая «без ограничений» вмешивается в личную жизнь / *personal conduct*. У такой цензуры нет правоты опыта, а лишь наличествует тонко замаскированное неприятие общественностью всего, что «отличается от нее самой», то есть того, что не вписывается в локальные критерии. Конечно, мы можем представить себе идеальную общественность, самоидентификация которой полностью ориентирована на эксплицированный со всей возможной точностью универсальный опыт, но в реальности такой еще не бывало, хотя многие на это активно претендуют. Впрочем, Милль не рассматривает здесь тот аспект, что некоторая общественность может самоидентифицировать свой опыт как универсальный и выражающий истину, даже формально приняв принцип полезности, но содержательно определив его по-другому (например: истинная польза и счастье – в спасении души от греха). Для Милля, безусловно, это не имеет смысла, так как никакое другое содержание не может быть подтверждено, в свою очередь, опытом, то есть представлено как знание, полученное индуктивно. Таким образом, вполне возможен вариант единодушия, когда мир неправ. Конкретными его воплощением, по Миллю, является «диктат церкви... моралистов и спекулятивных писателей». Универсальный опыт, за экспликацию которого отвечают настоящие философы, пока явно проигрывает. Милль даже риторически вопрошает: «Когда это общественность беспокоилась об универсальном опыте?» (Mill 2015a: 82). Становится очевидным, что этот опыт универсален в смысле абсолютности, ведь некоторая локальная общность вполне может распространить свои критерии до полного универсума человечества, подчинив себе все другие общности; иначе говоря, ее критерии станут предельно общераспространенными, но не абсолютными.

Этим смысловым нюансам из эссе «О свободе» соответствуют рассуждения и в трактате «Утилитаризм». Говоря о том, что принцип полезности должен стать основанием гармоничного развития человечества, Милль противопоставляет «индивидуальное» и «целое». «Благо целого / *good of the whole*» выступает синонимом «общему благу / *general good*» и сопоставлено с «интересами целого / *interest of the whole*» и «всеобщему счастью / *universal happiness / general happiness*» (Mill 2015b: 137, 175). Слова «целое», «общее», «универсальное» здесь выражают одно и то же – единство; это не просто указание на то, что в распределение благ или состоя-

ние счастья должны быть нумерически включены все – за этой общностью стоит единство опыта и именно опыта видового. Для Милля важно, что в моральный расчет мы вступаем не с нуля, он давно начат – на протяжении всего существования человечества / *past duration of the human species*, то есть в универсальном опыте, происходил имплицитный отбор линий поведения / *line of conduct*. Это один из ключевых моментов его аргументации – люди способны достичь согласия относительно того, что является полезным / *agreement as to what is useful*, потому что видовой опыт объединяет их, в нем действует та самая необходимость (гипотетическое противоположное состояние – невозможность достичь согласия – он называет всеобщей идиотией / *universal idiocy*) (Mill 2015b: 137). Универсальность такого опыта и делает его моральным опытом – в нем всякий человек представлен всякому человеку как часть целого, в этом смысле и часть его самого, другой в этом опыте открывается как значимый в своем стремлении к счастью, тот, с кем можно прийти к согласию, с кем возможен диалог (используя терминологию Канта, можно сказать, что другой открывается как цель, а не только как средство).

Такой теоретический фундамент (абсолютности принципа, универсальности опыта, действующей необходимости принятия другого) заставляет Милля иначе оценить значение вырабатываемых в опыте **правил**. Они для Милля суть не что иное, как промежуточные обобщения / *intermediate generalizations* (Mill 2015b: 137) на пути к моральной истине или общие принципы / *general principles* (Mill 2015a: 33). Так Милль говорит, например, о принципе свободы / *general principle of liberty* (Mill 2015a: 101). Наиболее полно вопрос генерализации раскрывается в одном из примечаний к трактату, где Милль солидаризируется со Спенсером относительно метода как синтеза генерализации и выводимости в определении правильных видов деятельности в целях достижения всеобщего счастья. Милль признает, что Бентам недооценивал именно генерализацию вторичных принципов, которая результирует опыт, отвлекает от набора успешных конкретных поступков их общую форму (Mill 2015b: 175). Генерализованные правила также трансформируются со временем, но для Милля это уже не недостаток, так как в их изменениях отражается отбор оптимальных типов поступка («линий поведения») в достижении максимальной полезности. Можно сказать, что это наделяет их в некоторой степени абсолютностью первопринципа. Звучит странно, но позволим себе такое выражение, раз уж сам Милль говорит о «более или менее абсолютном». То есть генерализация в некоторой степени приближает к абсолютности.

Но ввиду гносеологических затруднений, описанных выше, Милль, как и Бентам, не может обойти понятие «тенденция» и включает его в моральный расчет (Mill 2015b: 137). В основном он использует его в эссе, что не удивительно, поскольку эссе посвящено обоснованию вторичного принципа. Если у Бентама тенденция выражает своего рода моральную реальность поступка, которая и должна быть рационально выявлена, а правила и оценки не представляют интереса для морального расчета,

то согласно Миллю, именно **вторичные принципы** выражают тенденцию. Для иллюстрации он использует пример с ложью: вторичный принцип, или моральное правило, «не лги» – это формализованное в виде императива понимание «тенденции», которая заключается в том, что поступая честно, не обманывая, люди достигают большей полезности для всех. Генерализация также начинается в универсальном опыте, когда соответствующие полезности тенденции постепенно обобщаются в положительных убеждениях / *positive beliefs*. Но полноценная генерализация не может происходить только имплицитно, стихийно, и приоритет остается за философами, за моральной критикой, за рациональной эксплицированной генерализацией. Милль полагает, что философы «даже сейчас по многим вопросам» уже могли бы прийти таким способом к согласию. Философы также принимают и «положительные убеждения» в качестве правил морали / *rules of morality*, пока не преуспеют в поиске лучшего / *until he has succeeded in finding better*. Собственно, этот поиск лучшего и есть суть эксплицированного расчета, так они не только проводят ревизию правил морали, но и создают новые. Правила морали – это все те же промежуточные обобщения, их отличие от «положительных убеждений» двойное: формальное – убеждения могут устаревать и уже не признаваться как правила, генетическое – правила могут быть созданы в результате рационально эксплицированного морального расчета как «предписания практического искусства», тогда они уже следствия принципа полезности / *corollaries from the principle of utility*. В рассуждениях Милля эти два способа генерализации моральных правил тесно связаны, и он не нумерует их как первый или второй, это единый процесс развития видового опыта, чистоты эксплицитной составляющей удалось добиться только утилитаризму. Для нашего исследования важно, что в развитии универсального опыта, как его описывает Милль, обнаруживается два типа генерализации, посредством которых он и оформляется (универсализируется), то есть не только сама мораль является универсальным феноменом, порождаемым универсальным опытом вида, но и динамика морали (возникновение и изменение моральных правил) представляет собой процесс универсализации, когда либо частный поступок (точнее, набор подобных поступков – «линия поведения»), обобщается до правила в результате опыта, либо само правило проверяется на его соответствие первопринципу.

В тенденции обнаруживается вся сложность и запутанность универсалистских смыслов морали. Так, оспаривая мнение, что христианская мораль сосредоточила в себе все моральные истины, Милль утверждает, что само наличие этой морали как эксплицитно и целостно данной в конкретной книге лишь кажущееся. В качестве одного из аргументов он указывает, что ее формирование (как и толкование Библии) всегда проходило под влиянием существовавших в то или иное время «нравов и тенденций» / *character and tendencies*» (Mill 2015a: 48). Далее, рассуждая о развитии общества в целом, он говорит, что общая тенденция вещей / *general tendency of things* состоит в усреднении, упрощении (мнений, личностей и проч.) – «люди теряются в толпе», власть все больше понимается как «власть масс»;

это на самом деле означает, что правительства (политики) делают себя «органом тенденций и инстинктов масс / *organ of the tendencies and instincts of masses*» (Mill 2015a: 65). В одном абзаце Милль использует слово «тенденция» для выражения разных процессов – это и направленность развития, и направленность предпочтений. Последнее, как и в случае рассуждений о христианской морали, можно перевести словом «склонности», однако в данном исследовании это будет только вносить словесную путаницу. В подобном контексте пара «инстинкты и тенденции» дублирует пару «нравы и тенденции» – речь идет о том, что формирование моральных ценностей и норм не является полностью рационально эксплицированным процессом. Притом такая тенденция, очевидно, может соответствовать или не соответствовать неким более фундаментальным «тенденциям внутренних сил» человеческой природы, в согласии с которыми и должен развиваться человек (Mill 2015a: 58-59); это не означает, что сам Милль имеет исчерпывающее понимание того, что представляют собой этот второй тип тенденций, хотя очевидно, что они коррелируют с универсальным опытом. Однако локальный опыт показывает – пока ни одно мнение или обычай не воплощали их полноценно. Появление этого второго типа в рассуждениях Милля отражает именно моральную абсолютность, ибо это уже не просто тенденции поступка, а «тенденции человеческой природы»; в утилитаристской концепции их понимание и поддержание и есть полноценное соответствие принципу полезности. В общем-то основная идея, которая пронизывает любое обоснование этого принципа, заключается в том, что развитие человечества в любом случае направляется этим принципом, эксплицирован он или нет, а достоинством утилитаризма как раз является то, что он позволяет минимизировать на практике отклонения от этого принципа (осуществлять «корректировку тенденций» (Mill 2015a: 66), «улучшение морали» (Mill 2015a: 68)). Иными словами, тенденции природы и провозглашаемых правил и ценностей будут совпадать, насколько это вообще возможно на данном уровне человеческого познания. Но поскольку непосредственный расчет правильности поступка невозможен (или пока невозможен), то именно в понятии «тенденция» скрывается вся неясность того, что же все-таки правильно. Именно в попытке компенсировать эту неясность Милль дополняет моральный расчет вторичными принципами, которые фиксируют «тенденции поступков, познанные в опыте» (Mill 2015b: 137).

Как мы уже упоминали, успешность обновленного Миллем метода морального расчета часто оценивается скептически. Насколько нетривиальной является задача генерализации правил, видно уже по попыткам некоторых представителей утилитаризма правила использовать для ее решения даже теорию игр (Harsanyi 1978: 3-5). Но для нас важно, что в рассуждениях Милля максимально полно оказались представлены смыслы моральной универсальности – в отличие от Бентама он задействует в своей теории три смысла, дополняя метод также генерализацией правил.

Заключение. Проведенный анализ показывает, что смыслы моральной универсальности – весьма значимые элементы этики классического

утилитаризма. Однако и у Бентама, и у Милля они остаются часто скрытыми из-за однотипности терминов, при этом влияют на общий ход рассуждений и так или иначе учитываются самими философами. Неурегулированность смыслов универсальности ведет иногда к нестыковкам в теории. Например, моральная критика в утилитаризме возможна лишь на основании первопринципа, соответственно, для проверки тенденции применения какого-либо морального правила (в случае метода Милля) нужно сначала соотнести последствия конкретного поступка с первопринципом. Но для того, кто смог это сделать, вторичные принципы уже не нужны, а для того, кто этого сделать не может, вторичные принципы заслонят первичный и станут единственным ориентиром в различении правильного и неправильного. В результате в этике Милля вследствие скрытого столкновения абсолютности и общераспространенности появляются элитаристские элементы – моральной критикой занимаются философы, которым, очевидно, в силу их способности к такой критике не нужны вторичные принципы. Это нас возвращает к образу мудреца в античной этике, чьим поступкам обычный человек не может дать адекватную моральную оценку. В итоге интеллектуальная элита оказывается вне критики. Подобные сложности требуют раскрытия универсалистской структуры морали для построения моральной теории (или исследования морали как феномена, если предполагается, что данная теория ее адекватно раскрывает). Этому способна помочь дифференциация терминов, фиксирующая различие смыслов моральной универсальности. В то же время ошибочно полагать, что эти смыслы полностью различны (в данном случае в рамках классического утилитаризма) и лишь случайно оказываются иногда под общим именем «универсальность». Все три представленных смысла выражают, с одной стороны, общность, целостность, с другой – тесно связанное с этой целостностью доминирование. В абсолютности это доминирование связано с содержанием самой оценки или нормы, в общераспространенности – с признанием ее содержания как значимого, в генерализации – с включением частного в общее. Это дает основание выделить доминирование как родовую характеристику моральной универсальности, различия видов же определяются способами реализации доминирования. Этика классического утилитаризма выстраивается в схеме «абсолютность – генерализация – общераспространенность», в которой моральная истина осуществляет свою претензию на власть. Это особенно остро чувствует Милль, поэтому пытается разделить аспекты знания и практики, полностью переводя вопрос власти в область интеллектуальной борьбы мнений. Мы же, в свою очередь, можем утверждать, что в классическом утилитаризме мораль раскрывается как универсалистская по своей природе, моральная универсальность выражает претензию моральной оценки на доминирование во всех аспектах человеческой деятельности, когда моральные оценки и правила обладают абсолютным приоритетом перед любыми иными типами оценок и правил.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Апресян Р.Г. 2014. Смысл морали // Мораль: разнообразие понятий и смыслов : сб. науч. тр. : к 75-летию акад. А.А. Гусейнова. Москва : Альфа-М. С. 35-63.
- Апресян Р.Г. 2016. Феномен универсальности в этике: формы концептуализации // Вопросы философии. № 8. С. 79-88.
- Бентам И. 1998. Ответы на возражения против принципа полезности // И. Бентам. Введение в основания нравственности и законодательства. Москва : Росспэн. С. 31-34.
- Субботин А.Л. 2012. Джон Стюарт Милль об индукции. Москва : Ин-т философии РАН. 76 с.
- Bentham J. 2000. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Kitchener : Batoche Books. 248 p.
- Brandt R.B. 1967. Some Merits of One Form of Rule Utilitarianism // University of Colorado Studies. Series in Philosophy. Vol. 3. P. 39-65.
- Brandt R.B. 1959. Ethical theory: the problems of normative and critical ethics. Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall. 538 p.
- Brink D.O. 2013. Mill's Progressive Principles. Oxford : Clarendon Press. 307 p.
- Crisp R. 1997. Routledge Philosophy Guidebook to Mill on Utilitarianism. London : Routledge. 232 p.
- Fuchs A. 2006. Mill's Theory of Morally Correct Action // The Blackwell Guide to Mill's Utilitarianism. Oxford : Blackwell. P. 139-158.
- Harrod R.F. 1936. Utilitarianism Revised // Mind. Vol. 45, № 178. P. 137-156.
- Harsanyi J. 1978. Rule Utilitarianism and Decision Theory // Decision Theory and Social Ethics. Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel Publishing Company. P. 3-32.
- Irwin T. 2009. The Development of Ethics. A Historical and Critical Study. Vol. 3. From Kant to Rawls. Oxford : Oxford Univ. Press. 425 p.
- Loring R. 2014. The Role of Universal Jurisprudence in Bentham's Legal Cosmopolitanism // Revue d'études benthamiennes. № 13. URL: <http://journals.openedition.org/etudes-benthamiennes/749> (дата обращения: 10.07.2020).
- Martin R. 2011. Mill's Rule Utilitarianism in Context // John Stuart Mill and the Art of Life. Oxford : Oxford Univ. Press. P. 21-43.
- Mill J.S. 2015a. On Liberty // J.S. Mill. On Liberty, Utilitarianism, and Other Essays. Oxford : Oxford Univ. Press. P. 5-114.
- Mill J.S. 2015b. Utilitarianism // J.S. Mill. On Liberty, Utilitarianism, and Other Essays. Oxford : Oxford Univ. Press. P. 115-180.
- Mondal A.L. 2016. Mill's Critique of Bentham's Utilitarianism // International Journal of Philosophy Study (IJPS). Vol. 4. P. 13-21.
- Smart J.J.C. 1967. Extreme and Restricted Utilitarianism // Theories of Ethics. New York : Cambridge Univ. Press. P. 171-183.
- Turner P.N. 2015. Punishment and Discretion in Mill's Utilitarianism // Utilitas. Vol. 27, № 2. P. 165-178.
- Urmson J.O. 1953. The Interpretation of the Moral Philosophy of J.S. Mill // The Philosophical Quarterly. Vol. 3, № 10. P. 33-39.

Roman S. Platonov,

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

E-mail: roman-vsegda@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2762-1328

ResearcherID: Q-5288-2016

ScopusID: 57194107394

SPIN-код: 1060-8877

Article received 17.08.2020, accepted 28.09.2020, available online 11.01.2021

Moral Universality in the Ethics of Classical Utilitarianism (Jeremy Bentham, John Stuard Mill)

Abstract. The article sets a goal to define the meanings of moral universality in the ethics of classical utilitarianism, to establish their differences and connections, to show the significance of universality in the utilitarian method of moral calculation. Since the problem of moral universality was not set as part of utilitarianism, i.e. it is not shown in any theoretical provisions, we use the contextual analysis method of the use of words “universal”, “general”, “absolute”, “common” and so on when moral values and rules are describing in the key works of J. Bentham and J.S. Mill (“An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, “Utilitarianism”, “On Liberty”). As a starting point of the research, we take the classification of meaning differences of moral universality (it was done by R.G. Apresyan): universality as absoluteness, as ubiquity, and as generalization of moral values and rules. We show that both philosophers, in one way or another, used all three meanings in their arguments, but all three are conceptually significant only in J.S. Mill’s ethics. Absoluteness characterizes the primary principle (the principle of utility) and defines ethics as knowledge aimed at the search for moral truth. Ubiquity reflects the variability of moral values and rules and the fact that local cultural experience limits them. Generalization is a method of moral calculation whereby every action must be correlated with the principle of utility. At the same time, J.S. Mill, in contrast to J. Bentham, does not deny the importance of generality and complements it with “universal experience”, i.e. the experience of humanity as a species. Thus, he reveals moral values and rules not only in the aspect of locality and variability, but also in the aspect of fundamental skills of interaction of people with each other, skills of building any community. It also allows him to supplement the method of moral calculation with generalizing concrete rules without giving them the status of absoluteness, he accepts them as an important heuristic component of moral development. The connection of the three meanings of universality is found in the expression of dominance: absoluteness as moral truth, ubiquity as recognition, generalization as inclusion of the particular in the general, all of it express the claims of moral evaluation to priority over any other types of evaluations and rules. It is concluded that the problem of universality is fundamental for the development of the method of moral calculation, and that it is revealed as fully as possible in the ethics of classical utilitarianism.

Keywords: ethics; morality; utilitarianism; universality; absoluteness; ubiquity; universalizability; generalization; J. Bentham; J.S. Mill.

For citation: Platonov R.S. *Moral'naya universal'nost' v etike klassicheskogo utilitarizma (Jeremiya Bentam, Dzhon Styuard Mill)* [Moral universality in the ethics of classical

utilitarianism (Jeremy Bentham, John Stuard Mill)], *Antinomii=Antinomies*, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 45–64. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10403. (in Russ.).

The paper has been developed within the research project “The Phenomenon of Moral Universality,” supported by the Russian Science Foundation, grant no. 18-18-00068.

References

Apressyan R.G. *Fenomen universal'nosti v etike: formy kontseptualizatsii* [The Phenomenon of Universality in Ethics: Forms of Conceptualization], *Voprosy filosofii*, 2016, no. 8, pp. 79–88. (in Russ.).

Apressyan R.G. *Smysl morali* [Meaning of Morality], *Moral': raznoobrazie ponyatiy i smyslov : sb. nauch. tr. : k 75-letiyu akad. A.A. Guseynova*, Moscow, Al'fa-M, 2014, pp. 35–63. (in Russ.).

Bentam J. *Otveti na vozrazheniya protiv printsipa poleznosti* [Responses to Objections to The Utility Principle], *I. Bentam. Vvedenie v osnovaniya npravstvennosti i zakonodatel'stva*, Moscow, Rosspen, 1998, pp. 31–34. (in Russ.).

Bentham J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000, 248 p.

Brandt R.B. *Ethical theory: the problems of normative and critical ethics*, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall, 1959, 538 p.

Brandt R.B. Some Merits of One Form of Rule Utilitarianism, *University of Colorado Studies. Series in Philosophy*, 1967, vol. 3, pp. 39–65.

Brink D.O. *Mill's Progressive Principles*, Oxford, Clarendon Press, 2013, 307 p.

Crisp R. *Routledge Philosophy Guidebook to Mill on Utilitarianism*, London, Routledge, 1997, 232 p.

Fuchs A. Mill's Theory of Morally Correct Action, *The Blackwell Guide to Mill's Utilitarianism*, Oxford, Blackwell, 2006, pp. 139–158.

Harrod R.F. Utilitarianism Revised, *Mind*, 1936, vol. 45, no. 178, pp. 137–156.

Harsanyi J. Rule Utilitarianism and Decision Theory, *Decision Theory and Social Ethics*, Dordrecht, Boston, London, D. Reidel Publishing Company, 1978, pp. 3–32.

Irwin T. *The Development of Ethics. A Historical and Critical Study. Vol. 3. From Kant to Rawls*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2009, 425 p.

Loring R. The Role of Universal Jurisprudence in Bentham's Legal Cosmopolitanism, *Revue d'études benthamiennes*, 2014, no. 13, available at: <http://journals.openedition.org/etudes-benthamiennes/749> (accessed July 10, 2020).

Martin R. Mill's Rule Utilitarianism in Context, *John Stuart Mill and the Art of Life*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2011, pp. 21–43.

Mill J.S. On Liberty, *J.S. Mill. On Liberty, Utilitarianism, and Other Essays*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2015, pp. 5–114.

Mill J.S. Utilitarianism, *J.S. Mill. On Liberty, Utilitarianism, and Other Essays*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2015, pp. 115–180.

Mondal A.L. Mill's Critique of Bentham's Utilitarianism, *International Journal of Philosophy Study (IJPS)*, 2016, vol. 4, pp. 13–21.

Smart J.J.C. Extreme and Restricted Utilitarianism, *Theories of Ethics*, New York, Cambridge Univ. Press, 1967, pp. 171-183.

Subbotin A.L. *Dzhon Styuart Mill' ob induksii* [J.S. Mill on Induction], Moscow, Institut filosofii RAN, 2012, 76 p. (in Russ.).

Turner P.N. Punishment and Discretion in Mill's Utilitarianism, *Utilitas*, 2015, vol. 27, no. 2, pp. 165-178.

Urmson J.O. The Interpretation of the Moral Philosophy of J.S. Mill, *The Philosophical Quarterly*, 1953, vol. 3, no. 10, pp. 33-39.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА POLITICAL SCIENCE



Вахрушева Е.А. Правосудие переходного периода как концепт и практика: политологический анализ. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10404 // Антиномии. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 65–81.

УДК 329:330.5:330.8

DOI 10.24411/2686-7206-2020-10404

Правосудие переходного периода как концепт и практика: политологический анализ¹

Евгения Александровна Вахрушева

кандидат политических наук,
научный сотрудник Института философии и права
Уральского отделения Российской академии наук
г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: evgenia.vakhrusheva@mail.ru

SPIN-код: 2733-3355

*Статья поступила 15.10.2020, принята к печати 03.12.2020,
доступна online 11.01.2021*

Концепт правосудия переходного периода занимает важное место в исследованиях проблем мира, урегулирования конфликтов и достижения общественного согласия в так называемых переходных обществах, являясь неотъемлемой частью современного мейнстримного политического дискурса. В рамках этого дискурса практики правосудия переходного периода позиционируются как необходимое условие для

¹ Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентичности», 2020–2022 гг. (проект «Общественное согласие в России и конструирование гражданской идентичности как способ его достижения», рук. – академик РАН В.Н. Руденко).



© Вахрушева Е.А., 2020

преодоления наследия репрессивных режимов прошлого и достижения общественного консенсуса в хрупких постконфликтных обществах, некогда сильно поляризованных и как следствие отличающихся слабой общегражданской идентичностью. В основном массиве публикаций, посвященных изучению различных аспектов правосудия переходного периода, этот феномен по умолчанию рассматривается как данность, причем исследователи ограничиваются анализом частных проблем и противоречий и не подвергают сомнению его соответствие специфике тех задач, которые он призван решать. В результате складывается довольно непротиворечивая картина, рисующая движение некогда раздираемых гражданскими и военными конфликтами обществ в едином направлении – в сторону демократии и рыночной экономики, движение, где процедуры правосудия переходного периода выполняют важнейшие функции примирения и восстановления нарушенных прав, способствующих достижению базового общественного согласия. Вместе с тем анализ конкретных кейсов реализации правосудия переходного периода в более широком социально-политическом контексте заставляет усомниться в том, что выявляемые и описываемые мейнстримными теориями проблемы правосудия переходного периода носят частный и ситуативный, а не структурный характер. В этой связи возникает острая потребность в комплексном рассмотрении феномена правосудия переходного периода, в том числе с привлечением методологии критического анализа. В настоящей статье доказывается тезис о том, что институт правосудия переходного периода не стал адекватным ответом на те сложные вызовы, которые стоят перед современными обществами, обремененными острыми социально-экономическими и политическими противоречиями. Как часть глобального нелиберального проекта правосудие переходного периода решает лишь отдельные задачи и направлено на закрепление нелиберального статуса-кво. Не является правосудие переходного периода и надежным способом достижения общественного согласия в постконфликтных обществах, дестабилизированных скрытыми и открытыми противоречиями. Продуцируемая им модель общественного согласия – это весьма хрупкий конструкт, выстраиваемый вокруг негативного образа прошлого и основанный на рентном принципе распределения благ и привилегий бенефициарами нового режима. Решение структурных проблем и противоречий, которые в действительности лежат в основе конфликтов и нестабильности в переходных обществах, требует не столько пересмотра частных практик и институтов, сколько радикального переформатирования глобальной политической парадигмы, которая должна центрироваться вокруг концепции социально-экономической справедливости.

Ключевые слова: правосудие переходного периода, общественное согласие, нелиберализм, социально-экономическая справедливость, политика памяти.

Понятие «правосудие переходного периода» (*transitional justice*) описывает совокупность правовых и политических механизмов и практик, которые получили широкое распространение во второй половине XX в. в обществах, именуемых в социальных науках переходными. Согласно доминирующему глобальному дискурсу, продуцируемому ведущими акторами мировой политики, эти механизмы призваны способствовать более эффективному движению таких обществ от авторитарных режимов к демократии и/или преодолению в этих обществах последствий гражданских конфликтов, сопряженных с масштабными актами насилия. Применительно к таким обществам правосудие переходного периода позиционируется

как необходимый шаг на пути к достижению общественного согласия (см.: Bunselmeyer 2020) – одновременно и цели, и условия эффективного функционирования любого общества. Важнейшей задачей переходного правосудия является конструирование широкого общественного консенсуса относительно событий прошлого и формирование общегражданской идентичности постконфликтного общества вокруг демократических ценностей. Однако действительно ли эти практики способствуют достижению декларируемых целей? Ведут ли они некогда расколотые общества к согласию и примирению? Какие идеологические предпосылки лежат в основе практик правосудия переходного периода и как они сопряжены с идеологическим контекстом глобального капитализма? Все эти вопросы требуют ответа для оценки потенциальной возможности использования тех или иных практик правосудия переходного периода в слабо консолидированных обществах.

С учетом специфики поставленных задач в настоящем исследовании феномен правосудия переходного периода будет рассматриваться в двух разрезах: и как практика, и как концепт. В этом контексте следует внести терминологическую ясность относительно рассматриваемого предмета, необходимость чего обусловлена, в числе прочего, множественностью смыслов слова *justice* в английском языке. Во-первых, использование понятия «правосудие» в настоящей статье несколько вразрез с его строгим значением в юридической науке обусловлено тем, что правосудие переходного периода носит гибридный политико-правовой характер, так и сложившейся практикой перевода понятия *transitional justice* на русский язык. Во-вторых, большое внимание в статье будет уделено проблеме справедливости в ее политико-философском измерении, поскольку в основе любой системы правосудия или любых системных попыток достичь общественного согласия и примирения имплицитно лежит то или иное понимание справедливости, оказывающее прямое влияние на политико-правовые практики.

Правосудие переходного периода: ключевые этапы развития. На практике правосудие переходного периода реализуется через такие механизмы, как трибуналы, комиссии правды и примирения, санкции, репарации, мемориальные проекты, институциональные реформы, констелляция которых в каждом случае детерминирована совокупностью институциональных и структурных факторов, характерных для конкретной постконфликтной ситуации. К настоящему времени в глобальном масштабе накоплен широчайший опыт реализации практик правосудия переходного периода – это и послевоенные Германия и Япония, и постмилитаристские режимы в странах Латинской Америки, и посткоммунистические государства Восточной Европы, и ЮАР после режима апартеида, и, наконец, страны «арабской весны».

Большинство исследователей разделяет точку зрения, согласно которой правосудие переходного периода как практика берет свое начало от Нюрнбергских трибуналов, проведенных под эгидой союзных сил (см.: Priemel, Stiller 2012; Teitel 2003; Zunino 2019 и др.). Анализируя эту связь, К. Примель и А. Стиллер подчеркивают, что именно Нюрнбергские трибуналы впервые воплотили в себе три элемента того, что составляет смысл современного

понятия и практики правосудия переходного периода, выполнив одновременно функции судебных процессов, чистки и исторического урока. По замечанию исследователей, «Нюрнбергские военные трибуналы одновременно преследовали цель привлечь к ответственности виновников преступлений, удалить их с ключевых позиций немецкого общества, будь то с государственных должностей или из сферы бизнеса, и создать целостный влиятельный исторический нарратив о Германии XX века и нацистском правлении» (Priemel, Stiller 2012: 3).

В свою очередь, возникновение дискурса правосудия переходного периода исследователи связывают с событиями 1980–1990-х гг., а именно демократическим транзитом Аргентины в 1983 г., падением коммунистических режимов в Восточной и Центральной Европе после 1989 г., активизацией международной уголовной юстиции после создания Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в 1993 г. и созданием в 1995 г. в ЮАР Комиссии правды и примирения (Zunino 2019b).

История развития правосудия переходного периода отражает сложный, комплексный характер этого феномена, который детерминирован особенностями развития мировой политики и международных отношений, международного права, а также политико-правовыми процессами внутри отдельных государств. Исследовательница Рути Г. Тайтель проанализировала генеалогию правосудия переходного периода и выделила в его развитии три этапа. Эти этапы следует рассмотреть подробнее, поскольку подход Тайтель в некотором смысле является каноническим и разделяется многими исследователями, специализирующимися на проблемах правосудия переходного периода.

Ключевой характеристикой первого этапа, начало которого Тайтель, как и другие исследователи, связывает с Нюрнбергскими военными трибуналами, исследовательница называет доминирование международного права. Тайтель полагает, что правосудие после Второй мировой войны стало своеобразным критическим ответом на тот подход, который был реализован по результатам Первой мировой войны и который характеризовался проведением национальных трибуналов и применением принципа коллективной ответственности. Правосудие после Второй мировой войны, напротив, осуществлялось посредством международных военных трибуналов, а во главу угла был поставлен соответствующий духу либерализма принцип индивидуальной ответственности. Тайтель отмечает, что развитие модели правосудия переходного периода, сформировавшейся на первом этапе, было прервано началом холодной войны, которая ограничила возможности по экспорту этой модели. Тем не менее ее экспорт осуществлялся через заимствование договоров и конвенций, а приверженность индивидуальным правам, характерная для первой модели правосудия переходного периода, отразилась в развитии конституционализма в послевоенный период.

Начало второго этапа в развитии правосудия переходного периода Тайтель связывает с волной демократических транзитов, имевших место в Южной Америке в конце 1970-х – начале 1980-х гг. и затем распростра-

нившихся в Восточной Европе и Центральной Америке, а также с окончанием холодной войны. Важнейшей особенностью этого этапа, по мнению Тайтель, стал откат от нюрнбергских принципов правосудия, центрировавшихся вокруг международного права, и повсеместное учреждение национальных трибуналов, которые стали ключевыми субъектами правосудия переходного периода. Изменение вектора развития правосудия переходного периода в этой фазе его развития исследовательница объясняет спецификой политического контекста демократических транзитов, необходимостью решения переходными обществами локальных задач, связанных с процессами нациестроительства. Именно на этом этапе правосудие переходного периода начинает позиционироваться в национальных рамках как способ консолидации и примирения общества, как средство, необходимое для построения общегражданской идентичности.

Первая модель правосудия переходного периода, организованная вокруг международного права и провозглашающая принцип универсализма, оказалась не пригодной для решения частных национальных проблем и задач, которые в каждом конкретном случае были обусловлены особой констелляцией социальных и политических факторов, характером преступлений, совершенных прежним режимом и, что особенно важно, – необходимостью обеспечения легитимности новому режиму и достижения гражданского согласия и примирения. Именно поэтому, как отмечает Тайтель, идея верховенства права, которая была чрезвычайно значима на первом этапе развития правосудия переходного периода, на втором этапе утратила свою актуальность. В этой связи формирующаяся модель правосудия переходного периода приобрела более прагматичный характер и основывалась на множественных концепциях правосудия, которые появились на данном этапе. Вместе с тем приоритет национального правосудия, которое осуществлялось согласно нормам локального уголовного права, породило свои проблемы, «включая ретроактивность закона, искажение существующих законов, высокий уровень выборочного уголовного преследования и компрометацию судебной власти» (Teitel 2003: 76-77).

Недостаточные возможности национального права, особенно в части наличия средств и способов достижения общественного согласия и примирения, по мнению Тайтель, обусловили потребность в новых институциональных механизмах, которые могли бы заполнить эти лакуны. Таким важнейшим механизмом, по ее убеждению, стали комиссии правды. Присцила Хайнер, автор фундаментального труда «Неизъяснимая правда: противостоя государственному террору и преступлениям» отмечает: «...частично по причине ограниченной доступности судов, частично вследствие осознания того факта, что даже успешные судебные процессы не гарантируют разрешение конфликтов и уменьшение страданий, связанных с преступлениями прошлого, переходные режимы все чаще стали инициировать официальные процедуры, направленные на выявление правды (о прошлом.– Е. В.), которые становились центральным компонентом их политики в отношении преступлений прошлых режимов» (Hayner 2010: 14). Тайтель дает следующее определение комиссии правды: «...это официальный орган, обычно

учреждаемый национальным правительством с целью расследования, документирования и оглашения сведений о случаях нарушения прав человека в стране за определенный период времени» (Teitel 2003: 78). Первая подобная комиссия была создана в Аргентине в декабре 1983 г. Президентом Раулем Альфонсином под названием Национальная комиссия по расследованию исчезновений людей, которая сыграла ключевую роль в расследовании преступлений военной диктатуры в период с 1976 по 1983 г. и смогла сконструировать новый влиятельный нарратив об этих преступлениях (Crenzel 2008: 174). Во многом эта комиссия стала моделью для аналогичных структур, которые позднее учреждались в странах Латинской Америки и других регионах мира.

С интенцией к общественному согласию и примирению, использованием внесудебных механизмов, важнейшую роль среди которых играли комиссии правды, Тайтель связывает ключевой поворот в развитии правосудия переходного периода. По ее убеждению, сущностной особенностью модели правосудия переходного периода, сформировавшейся на втором этапе, стал ее восстановительный характер.

Характеризуя данную стадию развития правосудия переходного периода, важно указать, что она децентрировала сложившуюся на первом этапе вокруг международного права и международных трибуналов модель правосудия переходного периода. Интегрировав процессы, связанные с осуществлением правосудия различных акторов – неправительственных, правозащитных религиозных организаций, — сформировавшаяся на втором этапе модель абсорбировала дискурсы и аргументацию этих акторов, сформировавшиеся вне поля права, в результате чего дискурс правосудия переходного периода на втором этапе приобрел этическую модальность. Кроме того, включение в эти дискурсы понятия правды, самого по себе чрезвычайно дискуссионного и многогранного, породило множество вопросов к выработанной на этом этапе модели правосудия переходного периода. Так, Сюзан Бакли-Цистель, рассматривая феномен комиссий правды, доказывает, что интерпретация того, что считать правдой, сильнейшим образом детерминирована социальными и политическими контекстами, в которые эти дискурсы правды оказываются вплетены. Обращаясь к концепции «режим правды» Мишеля Фуко, исследовательница утверждает, что деятельность и выводы комиссий правды определяются существующими в конкретных обществах режимами правды, создают дискурсы прошлого, соответствующие этим режимам, и определяют дискурсивные рамки для политики после переходного периода (Buckley-Zistel 2015: 158). Таким образом, на втором этапе происходит очевидная политизация процедур и дискурсов правосудия переходного периода, в то время как на первом этапе этот феномен носил более выраженный правовой характер.

Новые черты правосудия переходного периода, которые определили специфику модели, сложившейся на втором этапе, сохранились и на третьем этапе. Переход к новому этапу Тайтель объясняет экспансией права войны, в частности международного гуманитарного права, в сферу реализации правосудия переходного периода (Teitel 2003: 89), которое обычно

ориентировано на урегулирование различного рода внутрисударственных, а не международных конфликтов. Символом этой тенденции, которую Тайтель называет «нормализацией правосудия переходного периода», исследовательница считает создание Международного уголовного суда, учрежденного Римским статутом, принятым в 1998 г. (Teitel 2003: 90). Таким образом, с появлением нового влиятельного международного субъекта в виде Международного уголовного суда на третьем этапе наблюдается своеобразное «закольцовывание» развития феномена правосудия переходного периода, которое вновь попадает в зону действия международного права, как это было на первом этапе. Тем не менее между первым и третьим этапом имеются существенные различия, которые характеризуют сложную, гибридную природу последнего и выражаются в беспрецедентном проникновении права войны в процессы, связанные с реализацией правосудия переходного периода на современном этапе.

Так, согласно статье 5 Римского статута, юрисдикция Международного уголовного суда включила в себя следующие виды преступлений: «а) преступление геноцида; b) преступления против человечности; с) военные преступления; d) преступление агрессии» (Римский статут... 2020: ст. 5). Статья 7 Статута определяет преступления против человечности как одно из следующих деяний: убийство, истребление, порабощение, депортация или насильственное перемещение населения, заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права, пытки и другие преступления. Причем указанные преступления признаются преступлениями против человечности, если «они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно» (Римский статут... 2020: ст. 7). Устав Международного военного трибунала, являющегося приложением к Соглашению № 251 о преследовании и наказании главных военных преступников Европейской оси, подписанному в Лондоне 8 августа 1945 г., также относит преступления против человечности к юрисдикции Международного военного трибунала и дает определение этой категории преступлений: «...убийство, уничтожение, порабощение, депортация и другие жестокие действия, осуществленные против любого гражданского населения, до или во время войны, или преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам во исполнение или в связи с любым преступлением в рамках юрисдикции Трибунала, вне зависимости от того, нарушается ли внутреннее законодательство страны, где было совершено преступление» (Charter... : art. 6]. Таким образом, при сопоставлении двух определений видно, что более позднее исключает какую-либо привязку преступлений против человечества с войной и военным временем, тем самым существенно расширяя юрисдикцию Международного уголовного суда. Важнейшим практическим следствием этих изменений стала легитимация «войны против терроризма» и вмешательства во внутренние дела независимых государств по другим основаниям, как это было, к примеру, с Югославией. Эти интервенции обычно становятся отправной точкой для смены режимов в государствах, в дела

которых осуществляется внешнее вмешательство, что в свою очередь ведет к включению механизмов правосудия переходного периода.

Таким образом, на третьей стадии своего развития в связи с появлением норм международного права, фактически легитимирующих интервенции (как показывает практика, всегда в значительной степени детерминированные собственными интересами интервентов), правосудие переходного периода приобрело еще более сложный, гибридный характер, который необходимо учитывать при анализе практик реализации правосудия переходного периода на современном этапе.

Вместе с тем генеалогический ракурс, позволяющий рассмотреть этапы и логику развития феномена правосудия переходного периода, исключает возможность взглянуть на последний под другим углом зрения – тем, который американский марксист Фредрик Джеймисон называет тотализирующим (Вахрушева 2017). Этот взгляд позволяет отстраниться от частных и разглядеть контуры идеологического аппарата, который по умолчанию встроен в любую практико-ориентированную стратегию или политическую теорию. Без такого ракурса невозможна целостная оценка феномена правосудия переходного периода как способа достижения общественного согласия.

Идеологические предпосылки концепта и практики правосудия переходного периода. Исходя из критической исследовательской перспективы, Анна Францки и Мария Каролина Оларте утверждают, что теория правосудия переходного периода развивается как теория, которая ограничена контекстом своего возникновения, а именно условиями «либерального консенсуса» и исчезновением фундаментальных политических агонизмов после окончания холодной войны (Franzki, Olarte 2015: 202). Исследовательницы убедительно показывают, что теория правосудия переходного периода является частью неолиберального политического проекта, утверждая в качестве своей нормативной цели переход к демократии и рыночной экономике в ее неолиберальном варианте (Franzki, Olarte 2015).

Как отмечает В.С. Мартьянов, неолиберализм обладает своего рода понятийным контролем, позволяющим ему претендовать на обладание «монополией на интерпретацию онтологии современных обществ с помощью закрытого словаря объясняющих друг друга ключевых понятий» (Мартьянов 2020: 19). Категория правосудия переходного периода с очевидностью является частью этого словаря, поскольку базируется на концепции транзита и таким образом дискурсивно закрепляет неизбежность перехода к неолиберальной демократии. Несмотря на широкую критику транзитологии, ее сильное методологическое влияние в исследованиях социально-политических трансформаций по-прежнему сохраняется, а в последние годы даже зазвучали призывы к ее возвращению (Mohamedou, Sisk 2013: 9).

Впрочем, при детальном анализе можно увидеть, что связь между транзитологией и конвенциональными теориями правосудия переходного периода имеет более глубокую идеологическую природу. Ключевое объединяющее их неолиберальное основание состоит в отказе от учета структурных факторов общественного развития и смещении фокуса анализа

со структуры к агентам и институтам (Franzki, Olarte 2015: 213), в результате чего и в теории, и на практике предлагается учитывать исключительно политическое и правовое измерения соответствующих процессов, в то время как их экономическое и социальное измерения сознательно игнорируются. Показательными в этом смысле являются дискуссии об отказе от включения в новые конституции положений о социально-экономических правах, которые развернулись в посткоммунистических странах на фоне широко транслируемых экспертных мнений о сугубо декларативном характере упоминания этих прав в конституциях коммунистического периода (Teitel 1994).

В структурном смысле правосудие переходного периода в том виде, в котором оно представлено в рамках известных нам демократических транзитов, не нацелено на какие-либо радикальные изменения старого порядка, если этот порядок базировался на капиталистическом фундаменте. В этом случае меняется лишь политический фасад здания, а его социально-экономический фундамент в основных чертах сохраняет свою конфигурацию.

В политико-философском смысле неолиберальная природа правосудия переходного периода обнаруживается в имплицитной установке на желаемость изначального компромисса между сторонами конфликта, достижения описываемого в теории согласия и примирения между ними, которое должно стать своего рода точкой обнуления конфликта. На деле же это обнуление призвано обеспечить неприкосновенность экономических интересов допереходных элит за счет смещения фокуса внимания на восстановление политических и гражданских прав жертв конфликта. Этим же целям, по мнению Роберта Майстера, служат рассмотрение конфликта как отношений двух сторон – агрессоров и их жертв – и умалчивание об участии в этих отношениях третьей стороны – бенефициаров, которые не являются непосредственными исполнителями преступных актов, но в чьих интересах эти акты зачастую совершаются (Meister 2012: 20-49). Таким образом, наказывая непосредственных преступников и предлагая жертвам обнулить свои претензии к новой политической власти и встать на путь примирения, правосудие переходного периода наделяет жертв лишь ощущением моральной победы, в то время как фактическим победителем остаются бенефициары – прежние экономические элиты, которые сохраняют свое привилегированное положение при новой политической власти. В этой ситуации, соглашаясь на снятие конфликта таким способом, его жертвы как бы лишаются морального права на пересмотр его результатов и предъявление претензий новой власти в будущем.

В подобном контексте неслучайной представляется тесная связь транзитов и правосудия переходного периода с практиками политики памяти. Неолиберализм как идеологическая основа современности, объявив устами Френсиса Фукуямы конец истории, не предлагает и не способен предложить какую-либо утопию или проект будущего. Неолиберализм сконцентрирован на настоящем и воспроизводит такой режим историчности, который французский исследователь Франсуа Хартог называет «презентизмом». Специфика этого режима состоит в том, что настоящее имеет

интенцию стремительно превращаться в прошлое, поскольку в тот самый момент, в который оно происходит, настоящее стремится представить себя как историю, как свершившееся прошлое (Hartog 2016: 114). Таким образом, неспособный проектировать политики будущего неолиберализм закономерно обращается к прошлому, которое конструирует и контролирует при помощи специфических политик памяти. На этом фоне закономерным выглядит синхронизация во времени глобального подъема неолиберализма и бума памяти. Стоит отметить, что политики памяти существовали и до наступления эры неолиберализма, однако они функционировали в рамках принципиально иного режима историчности, когда политика ведущих мировых держав еще центрировалась вокруг проектов будущего, в частности вокруг идеи социального государства.

Принципиально отличны друг от друга и мнемонические этосы этих двух эпох. Так, если политики памяти после Второй мировой войны были основаны на идеях антифашизма (см.: Stone 2014), то мнемонический этос неолиберальной эпохи апеллирует к теме прав человека, нарушенных авторитарными режимами (см.: Meister 2012: 20-49; Моун 2012). И если антифашистский мнемонический этос до подъема неолиберализма одобрял коллективное действие, легитимировал и поощрял существование коллективных субъектов политического действия, то мнемонический этос, центрированный вокруг идеи прав человека, имплицитно отрицает любой коллективный акт, поскольку в своей основе принципиально индивидуалистичен. Из этой скрытой установки неолиберальных политик памяти закономерно возникает тенденция к психологизации дискурса памяти, важным элементом которого оказываются понятия «травма», «исцеление» и пр. Психологическая работа с жертвами преступлений становится важнейшей частью реализации правосудия переходного периода. В заблуждение здесь вводит лишь определение «коллективный», которое дополняет ключевые понятия дискурса, порождая такие популярные сегодня концепты, как «коллективная травма» и «коллективная память». Следует, однако, предположить, что в рамках неолиберальной парадигмы определение «коллективный» выполняет идеологическую функцию, описывая в действительности индивидуальный или – как максимум – групповой или межгрупповой опыт. Эта дискурсивная эквилибристика помогает проводникам неолиберальной идеологии сместить фокус внимания жертв преступлений на свои индивидуальные переживания и травмы и одновременно завуалировать то, что их действительно объединяет, – их классовые социально-экономические интересы.

Более того, сама политика виктимизации радикально трансформирует политическую реальность, поскольку, как отмечает Л.Г. Фишман, пострадавшие индивиды и группы в существующих социально-экономических условиях начинают охотно примерять на себя статус жертв с целью занять свою привилегированную нишу в рентной структуре общества (Фишман 2018). Как следствие, их претензии деградируют к требованию привилегий, а не равенства, то есть к получению для себя благ здесь и сейчас, а не к преодолению структурного неравенства и построения более справедливого общества в будущем.

Идеологическая природа правосудия переходного периода проявляется также и в его избирательности, в частности в ограниченном охвате тех случаев, которые описываются как практики правосудия переходного периода. В частности, в этот спектр долгое время не попадали мероприятия, осуществленные в КНР по результатам Третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва и в СССР после XX съезда КПСС, а также в ряде других стран социалистического лагеря, несмотря на то что они по своему характеру соответствовали привычному набору мероприятий в рамках конвенционального понимания правосудия переходного периода. Так, в КНР был инициирован пересмотр наследия Мао Цзедуна, состоялся суд над «бандой четырех», были осуществлены некоторые выплаты репрессированным (Cook 2016: 25); в СССР был осужден культ личности и массово реабилитированы репрессированные в годы правления И.В. Сталина. Однако, будучи осуществленными в принципиально иной политической системе координат, эти изменения не могли быть истолкованы в рамках парадигмы правосудия переходного периода. И лишь в последние годы ученые заговорили о возможности «переходного правосудия без транзита», включив кейсы КНР, СССР и других социалистических стран в проблемное поле своих исследовательских проектов (Transitional Justice...).

Тот факт, что целью правосудия переходного периода не является достижение социально-экономической справедливости, подтверждается также и его сфокусированностью на актах физического насилия и невниманием к актам насилия экономического, что хорошо заметно на примере реализации репарационных программ. Так, изначально программы репараций в полном соответствии с традиционной парадигмой правосудия переходного периода были направлены на компенсацию нанесенного ущерба жертвам физического насилия, как например в Чили и Аргентине, и выплачивались в виде денежных дотаций в случае насильственной смерти, исчезновения, пыток, произвольного задержания, изгнания или на услуги образования и здравоохранения для выживших и семей жертв указанных преступлений (Roht-Arriaza 2014: 109). Случаи, когда репарации были нацелены на восстановление социально-экономических прав, крайне редки и в основном были связаны с реституцией изъятых земель (например, ЮАР, Колумбия).

Вместе с тем в последние годы в рамках парадигмы правосудия переходного периода наблюдается некоторый дискурсивный сдвиг в сторону проблематики экономического насилия, все чаще озвучивается признание ее важности на различных уровнях экспертного и политического общества. В частности, значимость социальных и экономических прав декларируется в некоторых документах ООН. Так, Руководящие указания Генерального Секретаря «О подходе Организации Объединенных наций к правосудию переходного периода» гласят, что ООН «стремится способствовать тому, чтобы в ходе реализации процессов и механизмов правосудия переходного периода были учтены коренные причины конфликта и репрессивного правления и борется с нарушением всех прав, включая экономические, социальные и культурные права» (Guidance Note...). Однако, несмотря

на этот сдвиг, который в целом следует оценивать позитивно, включение социально-экономической проблематики в концептуальное поле правосудия переходного периода представляется весьма проблематичным, поскольку предполагает радикальное реформатирование этой парадигмы с учетом идей структурного насилия и дистрибутивной справедливости, которые ценностно абсолютно чужды неолиберализму. В этой связи Зинаида Миллер отмечает, что перераспределение благ не является частью программы правосудия переходного периода (Miller 2008: 286); как следствие, «существующие программы репараций и компенсаций позволяют государству перераспределять блага только в крайне узком формате, обычно ограничиваясь выплатами тем, кого определяет механизм правосудия переходного периода» (Miller 2008: 284-285). В этом контексте в критическом ключе следует переосмыслить так называемые символические репарации, широко реализуемые в рамках правосудия переходного периода. Включая в себя различные практики мемориализации, символические репарации не только формируют определенный режим правды о прошлом, отвечающий интересам нового режима, но и выступают своего рода эрзацем материальных репараций, являясь одним из способов завуалировать притязания на дистрибутивную справедливость. Таким образом, являясь одним из элементов неолиберального аппарата, репарации решают лишь его частные задачи, направленные на стабилизацию новых режимов, а не на устранение структурных предпосылок конфликтов. Более того, если абстрагироваться от условий, в которых происходит нарушение прав тех или иных категорий населения, то можно увидеть, что сама неолиберальная экономика создает предпосылки для структурного социально-экономического насилия, ярким примером чего являются разворачивающиеся в развитых странах мира процессы джентрификации.

Осознавая описанные ограничения существующих теорий и практик правосудия переходного периода, некоторые исследователи настаивают на движении от концепции переходного правосудия в сторону концепции трансформирующего (преобразующего) правосудия, понимаемого как «трансформативные изменения, акцентирующие внимание на локальных агентах и ресурсах, приоритете процесса перед заранее сформулированными результатами и преодолении ассиметричных и перекрестных властных отношений, а также структур исключения как на локальном, так и глобальном уровнях» (Gready, Robins 2014: 340). Сторонники трансформирующего правосудия считают, что одним из его базовых ценностных оснований должна быть социально-экономическая справедливость, функционирующая одновременно и как историческая справедливость, предполагающая репарации и реституции за преступления прошлого, и как дистрибутивная справедливость, обращенная в будущее и нацеленная на элиминацию факторов структурного насилия (Lambourine 2015: 28-29). Однако в большинстве своем данные исследователи продолжают оставаться в рамках конвенциональной парадигмы правосудия переходного периода и в широком смысле не подвергают сомнению сам неолиберальный порядок, который является источником структурного насилия.

Таким образом, являясь существенным элементом глобального неолиберального проекта, правосудие переходного периода, несмотря на те позитивные цели, которые оно декларирует, не способно решать проблемы, связанные со структурным насилием. Будучи сконцентрированными на частных проблемах прошлого, оно скорее направлено на умиротворение и закрепление в постконфликтных обществах статуса-кво, вписывающегося в строгие рамки глобального неолиберального порядка. В то же время столь необходимая реконфигурация концепции и практик правосудия переходного периода вокруг идеи социально-экономической справедливости, о чем говорят некоторые исследователи, работающие в рамках конвенциональной парадигмы, представляется проблематичной, поскольку предполагает включение дистрибутивных механизмов и других практик, чуждых неолиберальному капитализму.

Как следствие, не является правосудие переходного периода и надежным способом достижения общественного согласия в постконфликтных обществах, дестабилизированных скрытыми и открытыми противоречиями. Продуцируемая им модель общественного согласия – это весьма хрупкий конструкт, выстраиваемый вокруг негативного образа прошлого и основанный на рентном принципе распределения благ и привилегий бенефициарами нового режима.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Вахрушева Е.А. 2017. Политическая философия Фредрика Джемисона : дис. ... канд. полит. наук. Москва. 157 с.
- Мартьянов В.С. 2020. Понятийный кризис западного мейнстрима // Ойкумена. Регионоведческие исследования. № 2. С. 19-31.
- Фишман Л.Г. 2018. Жертва и рента // Вестник Томского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Политология. № 44. С. 94-102.
- Buckley-Zistel S. 2015. Narrative Truths: On the Construction of the Truth Commissions // *Transitional Justice Theories* / ed. by Susanne Buckley-Zistel, Teresa Koloma Beck, Christian Brown and Friederike Mieth. Abingdon : Routledge. P. 144-162.
- Bunselmeyer E. 2020. Truth, Reparations, and Social Cohesion: Transitional Justice Lessons from Peru. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge. 240 p.
- Charter of the International military tribunal. URL: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf (дата обращения: 01.11.2020).
- Crenzel E. 2008. Argentina's National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice // *The International Journal of Transitional Justice*. Vol. 2. P. 173-191.
- Franzki H., Olarte M.C. 2015. Understanding the Political Economy of Transitional Justice: a Critical Theory Perspective // *Transitional Justice Theories* / ed. by Susanne Buckley-Zistel, Teresa Koloma Beck, Christian Brown and Friederike Mieth. Abingdon : Routledge. P. 201-221.
- Gready P., Robins S. 2014. From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice // *The International Journal of Transitional Justice*. Vol. 8. P. 339-361.
- Guidance Note of the Secretary-General. United Nations Approach to Transitional Justice. March 2010. URL: https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf. (дата обращения: 11.11.2020).

Hartog F. 2016. Regimes of Historicity. Presentism and Experiences of Time. New York : Columbia Univ. Press. 288 p.

Hayner P.B. 2010. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. Routledge. 376 p.

Lambourine W. 2015. Transformative Justice, Reconciliation and Peacebuilding // Transitional Justice Theories / ed. by Susanne Buckley-Zistel, Teresa Koloma Beck, Christian Brown and Friederike Mieth. Abingdon : Routledge. P. 19-39.

Meister R. 2012. After Evil: a Politics of Human Rights. New York : Columbia Univ. Press. 526 p.

Miller Z. 2008. Effects of Invisibility: In Search of the “Economic” in Transitional Justice // International Journal of Transitional Justice. Vol. 2. P. 266-291.

Mohamedou M.M.O., Sisk T.D. 2013. Bringing Back Transitivity: Democratisation in the 21st Century // GCSP – Geneva Papers – Research Series. № 13, November. 36 p.

Moyn S. 2012. The Last Utopia: Human Rights in History. Belknap Press : An Imprint of Harvard University Press. 352 p.

Priemel K., Stiller A. 2012. Nuremberg’s Narratives. Revisiting the Legacy of the “Subsequent Trials” // Reassessing the Nuremberg Military Tribunals: Transitional Justice, Trial Narratives and Historiography/ ed. by Kim C. Priemel and Alexa Stiller. New York ; Oxford : Berghahn Books. 334 p.

Roht-Arriaza N. 2014. Reparations and Economic, Social, and Cultural Rights // Transition Justice and Economic Violence in Transition / ed. by Dustin N. Sharp. Springer. P. 109-138.

Stone D. 2014. Goodbye to All That?: A History of Europe Since 1945. New York : Oxford Univ. Press. 480 p.

Teitel R.G. 1994. Post-Communist Constitutionalism: a Transitional Perspective // Columbia Human Rights Law Review. Vol. 26. P. 166-190.

Teitel R.G. 2003. Transitional Justice Genealogy // Harvard Human Rights Journal. Vol. 16. P. 69-94.

Transitional Justice without Transition? Redressing Past Injustices under State Socialism. URL: <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8278> (дата обращения: 11.11.2020).

Zunino M. 2019. Justice Framed: A Genealogy of Transitional Justice. Cambridge, UK : Cambridge Univ. Press. 318 p.

Zunino M. 2019. The Origins of Transitional Justice, July 9. URL: <https://grojil.org/2019/07/09/the-origins-of-transitional-justice/> (дата обращения: 11.11.2020).

Римский статут Международного уголовного суда : Вступил в силу 1 июля 2020 г. URL: [https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute\(r\).pdf](https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf) (дата обращения: 15.10.2020).

Evgenia A. Vakhrusheva, Institute of Philosophy and Law,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: evgenia.vakhrusheva@mail.ru
SPIN-код: 2733-3355

Article received 15.10.2020, accepted 03.12.2020, available online 11.01.2021

Transitional Justice as a Concept and Practice Through the Prism of Political Science

Abstract. The concept of transitional justice occupies an important place in the study of the problem of peace, conflict resolution and social cohesion in the so-called transitional societies, being an integral part of contemporary mainstream political discourse. Within the framework of this discourse, the practice of transitional justice is positioned as necessary condition for overcoming the legacy of the repressive regimes of the past and achieving public consensus in fragile post-conflict societies, which were once highly polarized and, as a result, characterized by a weak common civic identity. The main body of research is devoted to the analysis of various aspects of transitional justice; by default, it is considered as taken for granted. The research is limited to the analysis of its particular problems and contradictions not questioning its relevance to the specifics of the tasks it was designed to solve. As a result, a fairly consistent picture has emerged that depicts a movement of societies once torn apart by civil and military conflicts in a single direction – towards democracy and market economy, a movement where transitional justice procedures perform the most important functions of reconciliation and restoration of violated rights, contributing to the achievement of basic social cohesion. At the same time, the analysis of specific cases of transitional justice implementation in a broader socio-political context provokes doubts in the idea that the weaknesses of transitional justice, identified and described by mainstream theories, are not of structural nature, but rather particular and situational ones. In this regard, there is an urgent need for a comprehensive consideration of the phenomenon of transitional justice involving the methodology of critical analysis. This article proves that transitional justice could not be seen as an adequate response to the complex challenges facing contemporary societies burdened with acute socio-economic and political contradictions. As a part of a global neoliberal project, transitional justice solves only specific problems, and is rather aimed at consolidating the neoliberal status quo. Transitional justice is not a reliable way to achieve social cohesion in post-conflict societies, destabilized by hidden and overt tensions. The model of social cohesion it produces is a very fragile construct built on a negative image of the past and based on the rent principle of benefits and privileges distribution by the beneficiaries of the new regime. Solving the structural problems and contradictions that actually underlie the conflicts and instability in the so-called societies in transition, require not just a revision of particular practices and institutions, but a radical reformatting of the global political paradigm, which should be centered around the concept of socio-economic justice.

Keywords: transitional justice; social cohesion; neoliberalism; socio-economic justice; politics of memory.

For citation: Vakhrusheva E.A. *Pravosudie perekhodnogo perioda kak kontsept i praktika: politologicheskii analiz* [Transitional Justice as a Concept and Practice Through the Prism of Political Science], *Antinomii = Antinomies*, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 65-81. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10404. (in Russ.).

The article was prepared with the support of the Program of Fundamental and Applied Scientific Research “Ethnocultural Diversity of Russian Society and Strengthening of Civic Identity”, 2020–2022. (project “Public Harmony in Russia and the Construction of Civic Identity as a Way to Achieve It”, headed by Academician of the Russian Academy of Sciences V.N. Rudenko).

References

Buckley-Zistel S. Narrative Truths: On the Construction of the Truth Commissions, S. Buckley-Zistel, T. Koloma Beck, Ch. Brown, F. Mieth (eds.), *Transitional Justice Theories*, Abingdon, Routledge, 2015, pp. 144-162.

Bunselmeyer E. *Truth, Reparations, and Social Cohesion: Transitional Justice Lessons from Peru*, Abingdon, Oxon, New York, Routledge, 2020, 240 p.

Charter of the International military tribunal, available at: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf (accessed November 01, 2020).

Crenzel E. Argentina's National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice, *The International Journal of Transitional Justice*, 2008, vol. 2, pp. 173-191.

Fishman L.G. *Zhertva i renta* [The victim and the rent], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*, 2018, no. 44, pp. 94-102. (in Russ.).

Franzki H., Olarte M.C. Understanding the Political Economy of Transitional Justice: a Critical Theory Perspective, S. Buckley-Zistel, T. Koloma Beck, Ch. Brown, F. Mieth (eds.), *Transitional Justice Theories*, Abingdon, Routledge, 2015, pp. 201-221.

Gready P., Robins S. From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice, *The International Journal of Transitional Justice*, 2014, vol. 8, pp. 339-361.

Guidance Note of the Secretary-General. United Nations Approach to Transitional Justice. March 2010, available at: https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf. (accessed November 11, 2020).

Hartog F. *Regimes of Historicity. Presentism and Experiences of Time*, New York, Columbia Univ. Press, 2016, 288 p.

Hayner P.B. *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, Routledge, 2010, 376 p.

Lambourine W. Transformative Justice, Reconciliation and Peacebuilding, S. Buckley-Zistel, T. Koloma Beck, Ch. Brown, F. Mieth (eds.), *Transitional Justice Theories*, Abingdon, Routledge, 2015, pp. 19-39.

Martyanov V.S. *Ponyatiynnyy krizis zapadnogo meynstrima* [The Conceptual crisis of the Western mainstream], *Oykumena. Regionovedcheskie issledovaniya*, 2020, no. 2, pp. 19-31. (in Russ.).

Meister R. *After Evil: a Politics of Human Rights*, New York, Columbia Univ. Press, 2012, 526 p.

Miller Z. Effects of Invisibility: In Search of the 'Economic' in Transitional Justice, *International Journal of Transitional Justice*, 2008, vol. 2, pp. 266-291.

Mohamedou M.M.O., Sisk T.D. Bringing Back Transitology: Democratisation in the 21st Century, *GCSP – Geneva Papers – Research Series*, 2013, no. 13, November, 36 p.

Moyn S. *The Last Utopia: Human Rights in History*, Belknap Press, An Imprint of Harvard Univ. Press, 2012, 352 p.

Priemel K., Stiller A. Nuremberg's Narratives. Revisiting the Legacy of the "Subsequent Trials", K.C. Priemel, A. Stiller (eds.), *Reassessing the Nuremberg Military Tribunals: Transitional Justice, Trial Narratives and Historiography*, New York, Oxford, Berghahn Books, 2012, 334 p.

Rimskiy statut Mezhdunarodnogo ugovnogo suda : Vstupil v silu 1 iyulya 2020 g. [Rome Statute of the International Criminal Court: Entered into force on 1 July 2020], available at: [https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute\(r\).pdf](https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf) (accessed October 15, 2020). (in Russ.).

Roht-Arriaza N. Reparations and Economic, Social, and Cultural Rights, D.N. Sharp (ed.), *Transition Justice and Economic Violence in Transition*, Springer, 2014, pp. 109-138.

Stone D. *Goodbye to All That?: A History of Europe Since 1945*, New York, Oxford Univ. Press, 2014, 480 p.

Teitel R.G. Post-Communist Constitutionalism: a Transitional Perspective, *Columbia Human Rights Law Review*, 1994, vol. 26, pp. 166-190.

Teitel R.G. Transitional Justice Genealogy, *Harvard Human Rights Journal*, 2003, vol. 16, pp. 69-94.

Transitional Justice without Transition? Redressing Past Injustices under State Socialism, available at: <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8278> (accessed November 11, 2020).

Vakhrusheva E.A. *Politicheskaya filosofiya Fredrika Dzhemisona : dis. ... kand. polit. nauk* [The Political Philosophy of Fredrik Jamieson: Dissertation], Moscow, 2017, 157 p. (in Russ.).

Zunino M. *Justice Framed: A Genealogy of Transitional Justice*, Cambridge, UK, Cambridge Univ. Press, 2019, 318 p.

Zunino M. *The Origins of Transitional Justice*, July 9, 2019, available at: <https://grojil.org/2019/07/09/the-origins-of-transitional-justice/> (accessed November 11, 2020).



Василенко Ю.В. Образ «врага» в политическом дискурсе зарождающегося испанского консерватизма. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10405 // Антиномии. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 82–100.

УДК УДК 329.11:329.3

DOI 10.24411/2686-7206-2020-10405

Образ «врага» в политическом дискурсе зарождающегося испанского консерватизма

Юрий Владимирович Василенко

кандидат философских наук,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» – Пермь,
г. Пермь, Россия.
E-mail: yuvasil@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-7865-6497
ResearcherID: M-5692-2015
SPIN-код: 3073-3627

*Статья поступила 08.09.2020, принята к печати 12.11.2020,
доступна online 11.01.2021*

Статья посвящена трансформации образа «врага» в зарождающемся в Испании в последней трети XVIII – первой половине XIX в. консервативном политическом дискурсе. Сопоставляя образы «врага» в политических дискурсах традиционалистов и либеральных консерваторов, автор показывает, что первый выстраивается на религиозно-философских основаниях, на которые с большим трудом в начале XIX в. наслаиваются политические; второй имеет своей опорой сугубо политические интенции. Для испанских традиционалистов «враги» – это прежде всего сторонники так называемой ложной философии (некатолики и неиспанцы), являющиеся последователями британо-французского Просвещения. Либеральные консерваторы, в принципе отказавшиеся от любых военных коннотаций традиционалистов, трактовали «врагов» исключительно в гражданско-юридических понятиях как политических оппонентов из конкурирующих или союзнических структур (партий и партийных фракций). В рамках традиционализма своеобразным «драйвером» трансформации образа «врага» становятся карлисты, которые в условиях внутридинастических войн между католиками и испанцами были вынуждены придавать своему дискурсу сугубо политическое звучание.

Ключевые слова: образ «врага», консервативный дискурс, традиционализм, либеральный консерватизм, карлизм, Испания XVIII–XIX вв.



© Василенко Ю.В., 2020

Консервативный политический дискурс, формирующийся в последней трети XVIII в. как негативная реакция определенной части идеологов, представляющих интересы правящих средневековых сословий (Церкви и аристократии), на ускоренные процессы либерально-буржуазной модернизации, по определению был обращен против некоего социально-политического субъекта, являющегося носителем опасных, с их точки зрения (то есть точки зрения охранителей или скептиков), идей, взглядов и ценностей. Иногда этот субъект известен, и тогда он обозначается прямо; иногда – в целях корректности – всячески затушевывается, но все равно незримо присутствует в качестве некоего оппонента. Испанский кейс в данном случае интересен тем, что консерватизм в этой стране в силу многих причин (крепость католической традиции, успешный имперский опыт XVI–XVII вв. и общая социально-экономическая отсталость, препятствующая развитию капиталистических форм экономики и соответствующих ей социальных структур и политических институтов) имел изначально радикальный характер, вследствие чего и образ «врага» в консервативном политическом дискурсе его идеологов проявляется достаточно ярко. Поддерживаемые средневековой католической монархической традицией испанские консервативные идеологи позволяют себе быть более откровенными, нежели их единомышленники в странах побеждающего либерализма (прежде всего, в Великобритании или Франции), Дополнительную яркость образу «врага» придают и войны, которые вела Испания в XVIII–XIX вв. и которые трактуются консервативными идеологами не столько как геополитические, сколько как идейно-ценностные противостояния, будь то перманентные колониальные войны против англичан, Война за независимость против французов 1808–1814 гг. или три «карлистские войны» между сторонниками Нового порядка и либерально-буржуазной модернизации и сторонниками сохранения Старого порядка, то есть собственно между самими испанцами. При этом даже в данных условиях испанский консервативный политический дискурс переживает определенную трансформацию, постепенно переходя к середине XIX в. от религиозно-философских оснований к сугубо политическим постулатам, что самым непосредственным образом сказывается и на образе «врага», избираемого консервативными идеологами для своей критики.

В качестве исходной мы возьмем принятую в испанской историографии типологию консерватизма, предложенную в середине XX в. традиционалистом из «Opus Dei» Ф. Суаресом Вердегером (Suárez Verdeguer 2006: 35, 41–43) и дополненную к началу XXI в. историком-позитивистом П.К. Гонсалесом Куэвасом (González Cuevas 2000: 13–16). Оба классика выделяют среди испанских консервативных идеологов два типа: 1) «традиционалистов» как сторонников Старого порядка и, соответственно, более или менее радикальных его охранителей; 2) «либеральных консерваторов, склоняющихся к умеренному реформированию и постепенной адаптации к британо-французскому по своему происхождению либерально-буржуазному «духу века», характерному уже для Нового порядка. Внутреннее разнообразие зарождающегося в Испании консервативного политического дискурса заставляет нас ввести в данную типологию определенные нюансы, дополнив

ее собственной конкретно-исторической классификацией как по вертикали (провозвестники и первые три поколения испанского традиционализма), так и по горизонтали (классификация либеральных консерваторов в соответствии с партийно-политическим спектром в рамках партии «модерадос»).

Провозвестниками испанского консерватизма могут быть названы те интеллектуалы-традиционалисты, которые выступили против британо-французского Просвещения (XVII–XVIII вв.) еще до начала Великой французской революции (далее – ВФР), предчувствуя приближающийся крах Старого порядка.

Так, уроженец Андалузии, член Ордена Святого Иеронима, монах, юрист и писатель, «слава Севильского университета и монастыря Сан Исидро дель Кампо» (см.: Menéndez y Pelayo) падре Ф. де Себальос-и-Мьер (1732–1802) в своем главном шеститомном сочинении «Ложная философия, или Атеизм, деизм, материализм и другие новые секты, замышляющие государственный переворот против суверенов и их регалий, против магистратов и легитимных властей» (1774–1776) определяет своих «врагов» уже в названии: это «ложные философы», к которым он относит протестантов и просветителей. Противопоставляя «фантазиям» (Zevallos y Mier 1774: 90) «ложной философии» (протестантизму и Просвещению) «подлинные идеи» (Op. cit.: 90, 408), «подлинные Апологии» (Op. cit.: 164–165), «подлинную науку» (Op. cit.: 415) и «подлинное благочестие» (Op. cit.: 405–406) католицизма как «подлинной Церкви» (Op. cit.: 136, 326) и «подлинной религии» (Op. cit.: 76, 229, 250, 382, 388, 402), «религии установленной и имеющейся, которая была бы подлинной» (Op. cit.: 14), или просто «подлинную философию» (Op. cit.: 32, 159, 181, 193, 209, 257, 299–300, 312, 375, 410), Себальос задает целый дискурсивный тренд на несколько десятилетий вперед, вскрывая «ее («ложной философии». – Ю. В.) подлинную мораль и тайные мистерии, направленные против жизни, чести и интереса каждого гражданина и всего общества» (Op. cit.: 62). При этом слово «враг(и)» (*enemigo(s)*) Себальос в своем сочинении упоминает 217 раз, что прямо указывает на реакционный характер его идей и зарождение в Испании политического дискурса как такового.

Вслед за Себальосом монах из Королевского монастыря цистерцианцев Санта Мария де Вируэла (Мадрид), доктор теологии падре А.Х. Родригес (1703–1777), занимавший в течение своей жизни ряд высоких постов в иерархии Испанской католической церкви и являвшийся членом нескольких Королевских академий, в сочинении под названием «Филотео¹ в разговорах времени» (1776) противопоставляет Бога и Природу и подразделяет своих «врагов» (это слово он упоминает 53 раза) – просветителей XVII–XVIII вв., которых в целом можно определить как противников схоластики и сторонников науки, то есть «принципов атеизма» (Rodríguez 1776: 17) или «натуральных принципов» (Op. cit.: 21), – на «деистов» (Op. cit.: 26, 33, 35, 58–59, 79, 206, 295, 496–499, 512, 519), «фаталистов» (Op. cit.: 33, 147, 207),

¹ Теологическая философия. – Ю. В.

«пантеистов» (Ор. cit.: 33, 147, 207, 229, 235, 238, 369, 434, 445, 492, 499), «материалистов» (Ор. cit.: 33-35, 256, 369, 499, 522) и «атеистов» (Ор. cit.: 30, 34, 58, 65, 104, 106, 164, 176, 190, 232, 235, 238, 241, 256, 292, 315, 335, 338, 340, 369, 377, 393, 401, 408, 434, 437, 445, 492, 496-499, 510-511). Последние – ожидаемо – самые опасные, что видно даже по частоте их упоминаний; при этом «атеисты» более всего указывают на главную озабоченность Родригеса и, таким образом, определяют религиозно-философский характер его политического дискурса.

В той же логике работает и философ-схоласт, декан кафедрального собора Паленсии (Кастилия и Леон) В. Фернандес Валькарсе (1729–1798), на протяжении трех томов описывающий «Философские разочарования», преподнося их «в дар истине, религии и Родине» (1787–1797). Свой главный выпад Валькарсе направляет против Р. Декарта (*Desengaños... 1787: 81-183*), за которым уже следуют Н. Малевранш (Ор. cit.: 184-225), Дж. Локк (Ор. cit.: 225-296), Г.В. Лейбниц (Ор. cit.: 296-363), К.А. Гельвеций (Ор. cit.: 364-373) и Ж. Д'Аламбер (Ор. cit.: 373-378) – опять-таки британо-французские просветители XVII–XVIII вв., объявленные «врагами» 113 раз. «Персоналистский подход» Валькарсе сочетается с основополагающей доктриной Себастьяна – с незначительными политическими дополнениями, связанными с тем, что два из четырех томов «Философских разочарований» выходили уже во времена ВФР (1790–1797 гг.).

Как мы видим, провозвестники не пользуются политическими понятиями, заменяя их привычными для них, носителей средневекового менталитета, философско-религиозными конструктами и называя своих многочисленных «врагов» просто «(ложными) философами»; в итоге наличное религиозно-философское и потенциально политическое сливаются в их дискурсе воедино. Определенным образом ситуация начинает изменяться лишь после начала ВФР, благодаря чему создаются условия для формирования и сугубо политического дискурса; впрочем, в Испании этот процесс будет идти очень медленно и его результаты станут заметны лишь к 1808 г., когда революция придет в эту страну непосредственно.

Первое поколение испанских традиционалистов (от кануна ВФР до 1808 г.) может быть определено как переходное, поскольку его потенциально политический дискурс развивается в условиях «революции за границей». Испанцы до последнего момента надеялись, что ВФР не сможет перешагнуть Пиренеи; это позволяло им по-прежнему рассуждать о политической борьбе со своими внутренними и внешними «врагами», делая упор на ее религиозно-философскую составляющую. Однако по мере развития революции и особенно агрессивной внешней политики Наполеона ситуация начинает явно изменяться.

Так, накануне событий ВФР андалузский юрист и адвокат, заведующий кафедрой канонического права в Севильском университете и представитель университета при королевском дворе А.Х. Перес-и-Лопес (1736–1792), обрушиваясь в своей книге «Принципы порядка» в обычном уже ключе на «атеистов» (*Pérez y López 1785: 128*) и «материалистов» (Ор. cit.: 274), говорит в том числе и о политических «врагах Императора» (Ор. cit.: 116),

а также о «внутренних» и особенно «внешних» врагах Испании, угрожающих вторжением (Op. cit.: 85, 230); при этом слово «враг» у него упоминается лишь 4 раза.

Профессор юриспруденции в Саламанкском университете Х.П. Форнер-и-Сегарра (1756–1797) в своем сочинении «Апологетическая молитва за Испанию и ее литературное достоинство» (1786) говорит о «врагах» 13 раз сразу в нескольких аспектах, в частности: а) при обычном уже противопоставлении «религии и философии» (Forner 1786: 87) – о «врагах христианства» (Op. cit.: 197, 285-286), за которыми скрываются как арабы, принесшие в Испанию «знание математики, астрономии и медицины» (Op. cit.: 80), так и римские порочные императоры, пытавшиеся уничтожить в древнем Риме «науку и добродетель» (Op. cit.: 218); б) в сугубо политическом дискурсе – о современных внешних врагах Испании, ее монархии и империи (Op. cit.: 248, 285-286, 310, 319-321).

С началом ВФР пресвитер, доктор священной теологии, каноник святой церкви на Мальорке А. Вила-и-Кампс (1747–1809), упоминая «врагов» в своей книге «Вассал, ознакомленный с основными обязательствами перед своим законным монархом» 21 раз, трактует их не только как «врагов Святой Религии и Иисуса Христа» (Vila y Camps 1792: 109), «врагов Креста Иисуса Христа» (Op. cit.: 176) и «тайных врагов, которые разрушат вашу душу и тело» (Op. cit.: 116), но и как «врагов Религии и Государства» (Op. cit.: 14), «врагов Короны» (Op. cit.: 165), «народов Отца и Короля» (Op. cit.: 34), «Народа, Королевства или Нации» (Op. cit.: 59).

Приписной архидиакон Святой Церкви в Сеговии Клементе Пеньялоса-и-Суньяга (1751–1804), называя «философов» лишь в конце своей «Монархии» «врагами любой религии» (Peñalosa... 1793: 450) и «рода человеческого» (Op. cit.: 465), постоянно ставит знак равенства между «врагом» и «иностранцем» (Op. cit.: 152-153); он говорит о «врагах родины» (Op. cit.: 103), угрожающих вторжением, и «врагах королей» (Op. cit.: 424); при этом родина ассоциируется у него со всем прекрасным, законным (Op. cit.: 185). Всего слово «враг» встречается у Пеньялосы 10 раз.

В книге «Католический солдат на религиозной войне» андалузского капуцина Д.Х. де Кадис (1743–1801) резко увеличивается – по сравнению с трудами представителей первого поколения – использование слова «враг» (81 раз) и содержится призыв к испанцам «сохранять истинность своей Религии и своей веры против всех их врагов» (Cádiz 1794: 16), «врагов Бога, Церкви и государства» (Op. cit.: 20). «Враги» для Кадиса делятся на внешних (Op. cit.: 33, 45, 89) – это «враги Бога, Святой Церкви и законных властей в несчастном королевстве Франции» (Op. cit.: 52), «враги Религии и Церкви», «враги Креста Христова» (Op. cit.: 133), «Бога и своего короля» (Op. cit.: 87) – и внутренних (Op. cit.: 89) – это уже «предатели» Испании (Op. cit.: 17), «враги Бога и народа» (Op. cit.: 61). Последние опаснее; именно с ними и призывает Кадис бороться в первую очередь с помощью религии (Op. cit.: 54, 56, 58-59, 62, 78-80, 164-165), а потом уже и оружия (Op. cit.: 140-142, 146, 148, 152, 168, 178), плавно переходя от Испании к ее заморским колониям (Op. cit.: 69). Кадис прослеживает генезис «врагов» со времен библейской

истории, что делает «религиозную войну» всемирной и вечной; фактически она предстает основным смыслом человеческой истории.

Мурсийский священник С. Лопес Гарсиа (1744–1831) в своей брошюре «Христианско-политический колокол» упоминает «врага» лишь 1 раз, однако контекст говорит сам за себя: «Они являются плодами философии, триумфов безбожия, и врагами Рима, Понтифика и Церкви. Философы, необходимо это повторить, восстают против монархов, чтобы сокрушить их» (López 1808: 36-37). Философами, в свою очередь, Лопес называет протестантов в целом (Op. cit.: 20, 29, 31, 41), подразделяя их на «лютеран, кальвинистов, анабаптистов, социнианов, янсенистов, иудеев, атеистов, неверующих или франкмасонов, что одно и то же» (Op. cit.: 29). Также Лопесом не забыты «безбожный Наполеон» и «якобинцы», которые выступают против «суверена, знати и религии» (Op. cit.: 29). Как мы видим, впервые в традиционалистском политическом дискурсе суверен позиционируется как более значимый относительно религии, что говорит о принципиально возросшей актуальности политического в сравнении с религиозно-философским.

Своеобразным обобщением образа «врага» в политическом дискурсе первого поколения испанских традиционалистов является двухтомное сочинение «Причины французской революции 1789 года и средства, которые необходимы для уничтожения врагов религии и государства», написанное испанским лингвистом иезуитом Л. Эрвасом-и-Пандуро в Италии и вышедшее в Испании в 1807 г. Упомянув врагов «религии и государства» 93 раза, Эрвас повторяет все дискурсивные концепты своих единомышленников – тех становящихся консервативными авторов типа Э. Бёрка, которые постарались написать те или иные «размышления о французской революции». Впрочем, с последним Эрвас спорит непосредственно (Hervás y Panduro 1807: 153-185). При этом труд Эрваса можно назвать историко-религиозно-философским в первую очередь и только историко-политическим – во вторую, поскольку главным врагом религии и государства у него объявляются «секты» (465 упоминаний), из которых вышли французские революционеры. Сосредоточившись на общеевропейской повестке, Эрвас затрагивает испанскую проблематику «по касательной», что во многом позволяет выводить его за скобки собственно испанского политического дискурса. Непосредственным же последователем Эрваса в Испании в рамках первого поколения является Кадис; помимо прочего, их роднит и чрезмерно частое употребление слова «враг».

В целом же, как мы видим, к 1808 г. в испанском традиционалистском дискурсе начинается постепенный переход от религии и философии к политике: при этом сугубо политический дискурс по-прежнему надстраивается над религиозно-философским как основополагающим, что сразу же сказывается и на образе «врага»: к «ложным философам» присовокупляются политики, являющиеся противниками испанской монархии (внутри), и французские революционеры (вовне).

Второе поколение испанских традиционалистов сформировалось в 1808–1814 гг. в условиях Войны за независимость против французских оккупантов (эта тема, очевидно, преходящая), а также открытой политической

борьбы между партиями испанских либералов и традиционалистов на Кадисских кортесах (борьбы беспощадной, вплоть до изгнания из страны), благодаря чему «надстройка» политического над религиозно-философским в их дискурсе завершается: образы французских и – что важнее – испанских революционеров как «врагов» становятся самодостаточными, хотя и сохраняют еще свою производность от «ложной философии» Просвещения.

Так, выходец из Мексики М. де Лардисабаль-и-Урибе (1744–1824), изгнанный из Кортесов за ревностный традиционализм еще в 1810 г., в своем «Манифесте к нации» упоминает слово «враг» всего лишь 3 раза: дважды это французские оккупанты (*Manifiesto que presenta...* 1811: 21, 52) и только один раз – сторонники либеральных реформ (Op. cit.: 101–102), за которыми опять-таки стоят – как главный «враг» – французы (Op. cit.: 17, 20, 26, 69, 92, 99); внутри же Испании самыми опасными являются «писатели, которые сервильно повторяют французское мышление» (Op. cit.: 35).

Подвергшийся преследованиям со стороны либералов декан Верховного совета Испании и Индий Х.Х. Колон де Ларреатеги-и-Хименес де Эмбрун (1746–1822) в своей книге «Оправданная Испания» (1811) упоминает слово «враг» 9 раз, призывая испанцев объединиться как против «общего врага» (Colón 1814: 16), под которым подразумевает французов (Op. cit.: 34, 50, 60, 63), так и против сторонников либеральных реформ в Испании, подражающих французским революционерам типа Ф.Н. Бабефа (Op. cit.: 27) и не сохранивших поэтому верность своему королю (Op. cit.: 35–36, 43, 70).

Изгнанный из Кортесов в 1812 г. по тем же причинам, что и Лардисабаль, эстремадурский иезуит П.Б.А. Кеведо-и-Кинтано, епископ Оренсе (1736–1818) в своем «Манифесте» использует слово «враг» дважды, говоря о неких критиках своей деятельности как епископа (*Manifiesto del Obispo...* 1813: 61, 63), под которыми, очевидно, подразумеваются те, кто его изгнал, то есть либералы. При этом он жалеет «французский народ» (Op. cit.: 14), страдающий от тягот ВФР (Op. cit.: 70), но страстно призывает к сопротивлению «французским войскам» (Op. cit.: 59, 61).

Гранадский капуцин Р. де Велес (1777–1850), который, в отличие от первой «тройки» второго поколения испанских традиционалистов, личного участия в Кадисских кортесах не принимал, мог писать более пространные тексты с обширными историческими экскурсами, такие как «Предостережения против нерелигиозности, или Планы философии против религии и государства, реализованные Францией для того, чтобы подчинить Европу, и Наполеоном при завоевании Испании, увидевшие свет в трудах некоторых наших мудрецов во вред нашей Родине» (1812), с соответствующим дискурсом против «врагов религии и родины» (Vélez 1813: 13, 120), «врагов ее веры» (Op. cit.: 119), «врагов нашей религии» (Op. cit.: 139), «врагов католической религии» (Op. cit.: 30), «основополагающих врагов монархов, христианской церкви и ее служителей» (Op. cit.: 44) и «врагов как религии, так и тронов» (Op. cit.: 50). Всего слово «враг» упоминается Велесом 48 раз; из них собственно французы как оккупанты упоминаются 18 раз (Op. cit.: 15, 72, 86, 112–116, 118, 120, 123, 201–202, 218). «Во всей Европе, – пишет Велес, – они (наши враги. – Ю. В.) известны как просветленные, материалисты, атеисты,

неверующие, развратники, франкмасоны, безбожники» (Op. cit.: 16), «безбожники, богохульники, якобы мудрецы и враги властей» (Op. cit.: 27). Иногда Велес ограничивается исключительно политическим дискурсом, говоря об «основополагающем враге короля, его власти и авторитета» (Op. cit.: 51) и «врагах Конституции, противниках правительства, революционерах, соблазнителях народов, агентах Наполеона, сторонниках его планов» (Op. cit.: 201) вне всякой связи с религией. Однако преемственность между Себальсом и Велесом становится очевидной, когда он начинает писать о том, что «философы являются вашими врагами... провозглашенный враг Бога есть также и враг человека» (Op. cit.: 218). Обозначающееся у Велеса раздвоение традиционалистского дискурса на два уровня – религиозно-философский и политический – явно свидетельствует о его отличиях от дискурса времен Себальса.

Доминиканец из севильского монастыря Сан-Пабло Ф. де Альварадо по прозвищу «Замшелый философ» (1756–1814) также наблюдал деятельность Кадисских кортесов со стороны. В пяти томах своих «Критических писем» (1824–1826), написанных порой по весьма рутинному поводу в адрес различных испанских политиков, Альварадо использует слово «враг» 153 раза, воспроизводя во множестве вариаций все концепты своего поколения, благодаря чему выполняет для него ту же роль, что и Эрвас для первого поколения.

Между тем именно на примере второго поколения испанских традиционалистов мы видим следующую закономерность: отдаленность от политического процесса и ориентация исключительно на идеологию делают высказывания (в нашем случае Велеса и Альварадо) более откровенными, а образ «врага» – артикулированным; и наоборот: при всем своем ревностном традиционализме те политики, которые принимали в Кадисских кортесах участие лично (Лардисабаль, епископ Оренсе и Колон), на публику продолжают высказываться довольно обтекаемо, не педалируя тему «врага», несмотря на то что в отличие от первых они реально пострадали и на момент написания своих текстов находились уже в изгнании. При этом, что важно, основополагающие ценности (ревностный католицизм и производная отсюда «защита Алтаря и Трона») данных разновидностей традиционалистов (теоретиков и практиков), являющихся приверженцами католического испанского абсолютизма, не различаются.

Отсюда перед *третьим поколением* испанских традиционалистов стояла историческая по своей важности задача: определиться, какой же из двух уровней традиционалистского дискурса является фундаментальным и исторически перспективным: религиозно-философский или сугубо политический. Более частная версия той же проблемы: может ли политический уровень в традиционалистском дискурсе стать первичным, а религиозно-философский – вторичным?

Данную задачу решили два выдающихся испанских традиционалиста середины XIX в. – Х.Л. Бальмес-и-Урпия (1810–1848) и Х. Доносо Кортес (1809–1853), которые двигались в прямо противоположных направлениях, положив начало нового этапа в развитии испанского консерватизма –

классического. И если Бальмес, будучи католическим теологом, развивал свой дискурс от религиозно-философского к политическому, то Доносо, много поработавший в молодости на либерально-консервативное крыло партии «модерадос», – от политического к религиозно-философскому. Исторически более перспективным оказался путь Бальмеса: его открытость к диалогу и тезис о необходимости уступок справедливым требованиям революционеров в канун революции 1848–1849 гг. предопределили идеологические построения не только умеренных франкистов, но и современных традиционалистов; в то время как Доносо, пережив накануне той же революции «обращение в католицизм», фактически ограничил испанский традиционализм жесткими рамками религиозно-философской догматики, вследствие чего и выпал фактически на сто лет из консервативного политического дискурса вообще, пока в середине XX в. создатель политической теологии К. Шмитт не открыл его снова – уже как теоретика диктатуры общеевропейского масштаба (Schmitt 1952).

Между тем относительно образа «врага» оба традиционалиста в целом действовали в одной логике: они считали своими «врагами» всех, кто находился левее их в идеологическом спектре (а именно либералов и социалистов, что следует даже из названия знаменитого «Очерка о католицизме, либерализме и социализме» Доносо), и находили союзников практически среди всех разновидностей традиционалистов, с которыми их объединял ревностный католицизм и склонный к «протоавторитарной» диктатуре монархизм (Бальмес не исключал даже и карлистов). При этом, что также примечательно, само слово «враг» с коннотациями провозвестников и первых двух поколений испанских традиционалистов в их политическом дискурсе не используется: в условиях победившего Нового – либерально-буржуазного – порядка изменяется и словоупотребление. С падением в Испании в 1833 г. абсолютной монархии средневековая католическая нетерпимость уступает место современной корректности: отныне «враг» уже не сжигается на кострах Инквизиции, и его программа оспаривается в парламенте (Доносо) или на страницах периодической печати (Бальмес).

Так, упоминая в работе «Пий IX» слово «враг» 3 раза, Бальмес просто дважды цитирует Папу Римского (Balmes 1926b: 262, 271) и единожды – Святого Леона (Op. cit.: 265), а они для католиков тогда были «безгрешны». Аналогично действует и Доносо, который в своем «Очерке» использует слово «враг» 10 раз, но по одному разу, цитируя древних римлян (Donoso Cortés 1851: 5), упоминает дьявола как «врага рода человеческого» (Op. cit.: 59) и Бога как «врага человека» (Op. cit.: 133), трижды пересказывая на свой лад Ветхий Завет (Op. cit.: 68, 112, 344) и четырежды – П.-Ж. Прудона (Op. cit.: 317, 322–323). В итоге, если опираться на «Очерк» Доносо, получается, что самыми агрессивными «школами» являются католицизм (правые) и социализм (левые), в то время как при критике «либералов» (центристов) слово «враг» не используется ни разу, что, на наш взгляд, закономерно.

В данном контексте довольно интригующим оказывается кейс карлизма, который в идейно-ценностном аспекте вырастает из того же традиционализма. Так, изначально, будучи в религиозно-философском плане

ревностными католиками, а в политическом – сторонниками монархического абсолютизма, карлисты, казалось бы, должны были полностью перенять религиозно-философский дискурс традиционалистов. Однако уже в ходе первой «карлистской войны» (1833–1840) выяснилось: социальные структуры карлистов настолько разнообразны, что это движение оказывается способным не только к догматическому воспроизводству средневековой традиции с лозунгами в духе «Да здравствует Инквизиция!», но и к идейно-ценностной эволюции, причем сразу в двух направлениях: и вправо, что позволяет испанским историкам говорить о зарождении третьего типа в рамках испанского консерватизма – праворадикального консерватизма как открыто призывающего и склонного к прямому политическому насилию; и влево (в направлении умеренного традиционализма, результатом чего станут идеи примирения с изабелитами согласно установкам Бальмеса). И это еще вопрос, какое из этих направлений является «мэйнстримом», а какое – второстепенным; аргументы находятся в пользу обоих решений. Однако уже к третьей «карлистской войне» (1872–1876) умеренные традиционалисты, часть которых – выходцы из разочаровавшихся в либерализме во второй половине 1860-х гг. «модератос», начинают постепенно превращать карлизм из воинственного движения в парламентскую партию, собирающую под свои знамена всех традиционалистов, включая изабелитов. Ярчайшим подтверждением исторической перспективности второго – левого – направления в эволюции карлизма является Бальмес, который, будучи изабелитом, еще в канун второй «карлистской войны» (1846–1849) целенаправленно работал на молодого Карлоса VI, стараясь примирить обе ветви испанских Бурбонов посредством его внутридинастического брака с Изабель II. В частности, перу Бальмеса принадлежит «Манифест графа Монтемолина¹ к испанцам» (1845), считающийся одним из ключевых для современного испанского традиционализма, в котором формулируется новый «религиозный и испанский принцип»: «...справедливость без насилия, восстановление без реакции, осторожное равновесие между всеми интересами» (*El tradicionalismo...* 1955: 120). Здесь налицо явное стремление отказаться от образа «врага». Другое дело, что в итоге к последней трети XIX в. «врагами» карлистов по-прежнему оставались все левые политики (либералы и социалисты), однако умеренные традиционалисты-изабелиты из «врагов» времен первой «карлистской войны» превращались в ближайших союзников.

Образ «врага» в политическом дискурсе зарождающегося в Испании либерального консерватизма имеет свою специфику. Прежде всего, к концу XVIII в., когда у традиционалистов за плечами была уже состоявшаяся религиозно-философская традиция, будущие либеральные консерваторы только-только начинали «прорастать» из довольно широкого и слабо уловимого скептицизма в отношении таких полноводных источников либерализма, как Реформация и Просвещение. Соответственно, в Испании, где оба эти течения подверглись в XVI–XVIII вв. жесточайшим репрессиям,

¹ Будущего Карлоса VI. – Ю. В.

провозвестники либерального консерватизма оказались не столько субъектами «вражды», сражающимися со своими идеологическими противниками, сколько ее объектами. Поскольку идеологическая идентичность либеральных консерваторов сформировалась в Испании относительно поздно (к середине 1830-х гг.) и под непосредственным влиянием французских «либеральных доктринеров», то и образ «врага» в их политическом дискурсе до этого времени фактически отсутствовал. Все это прослеживается в судьбе такой значимой для испанской истории конца XVIII – начала XIX в. фигуры, как Г.М. де Ховельянос-и-Рамирес (1744–1811), который, будучи убежденным сторонником Просвещения, на протяжении большей части своей жизни не столько боролся с традиционалистами, сколько старался избежать политических репрессий с их стороны и лишь к ее концу начал хоть как-то обозначать своих «врагов», но лишь в контексте Войны за независимость и в понятиях противостояния «офранцузенных» (будущих либералов) и «патриотов» (будущих консерваторов). Так, в его «Обращении к соотечественникам» (1811) слово «враг» упоминается 58 раз; для Ховельяноса это прежде всего «враги родины» (*D. Gaspar de Jovellanos a sus compatriotas... 1811: 33*), которых он делит на «внешних» и «внутренних» (*D. Gaspar de Jovellanos... 1811: 47*), то есть французов и тех, кто мешал с ними бороться соответственно. Столь правый крен в идеологической эволюции Ховельяноса позволяет испанскому историку Эрреро причислить его к носителям «реакционного мышления» наряду со всеми традиционалистами этой эпохи (Herrero 1973: 139-141), притом что изначально он к нему никакого отношения не имеет.

Непосредственно политическая идентичность либеральных консерваторов начинает артикулироваться в политическом дискурсе Ф. Сеа Бермудеса (1779–1850), который, возглавляя испанское правительство в конце 1833 – начале 1834 г., то есть в момент зарождения необратимого уже движения от абсолютной монархии Фернандо VII к конституционной монархии Изабель II, занимает классическую для этого типа консерваторов позицию: между революционерами (на тот момент – прогрессистами и либералами) и охранителями (традиционалистски мыслящими Церковью и аристократией) (Sosa 1930: 142; Suárez Verdeguer 1947: 108). В дальнейшем позиция «между» будет характерна для всех испанских либеральных консерваторов вплоть до падения Изабель II в 1868 г., что обозначит смену не только монархов, но и политических эпох, а с установлением в 1873 г. Первой Республики – и политического режима, и формы правления.

Непосредственный преемник Сеа – во многих отношениях «архитектор» Нового порядка в Испании – Ф. Мартинес де ла Роса (1787–1862) сумел не только обосновать занятую позицию «между» идеологически, но и относительно удачно реализовать ее на практике, заложив фундамент для дальнейшего развития политических институтов конституционной монархии. Несмотря на то что перипетии политической практики часто заставляли Мартинеса лавировать по всему идеологическому спектру либерального консерватизма (с генералом Р.М. Нарваэсом-и-Кампосом он смещается вправо во время революции 1848–1849 гг.; с генералом Л. О`Доннелем-

и-Хорисом – влево, на позиции созданного в 1854 г. «Либерального союза»), он всегда находится если не во главе, то в самом центре либерально-консервативного «мэйнстрима», уверенно преследуя его «врагов» справа (карлистов) и менее уверенно – слева (прогрессистов). По оценкам Бальмеса, ожидаемо требовавшего от Мартинеса более жесткой линии в отношении прогрессистов, «против первых он выражается сурово; против вторых едва ли позволяет себе хоть слово, которое могло бы их задеть» (Balmes 1926a: 158); но важно, что речь идет о «выражениях».

В данном случае принципиально, что в речи, произнесенной по поводу исключения дона Карлоса и его наследников из списка претендентов на испанский престол, – речи, которая стала одной из программных речей Мартинеса, полностью вынесенных его биографом Л. де Сосой в приложение, он говорит о «криминальном намерении узурпировать корону» (Sosa 1930: 232) и о «праве женщин наследовать трон» (Op. cit.: 238), но исключительно в юридическом и историческом ключе, которые объединяются им в понятие «чисто политического» (Op. cit.: 251); слово «враг» он не употребляет ни разу, притом что речь произносится в условиях первой «карлистской войны». Мартинес ценит выше всего «постоянное стремление испанцев сохранять законы, обычаи, практики своих предков» (Op. cit.: 240, в то время как намерение «завоевать королевство» является для него «идеей ложной, скандальной, недостойной испанцев» (Op. cit.: 244). Будучи консерватором, «высшим принципом» своей политики Мартинес провозглашает «принцип самой консервации, присущий как обществу, так и индивидам» (Op. cit.: 252), который позволит «бороться с нынешним злом и предотвратить опасности в будущем» (Op. cit.: 252). Другое дело – политическая практика либеральных консерваторов, которая у них часто расходилась с провозглашенной политической теорией. Так, по словам либерального консерватора А. Боррего Морено, современника и одного из оппонентов Мартинеса, «система сеньора Мартинеса де ла Росы является сущностно консервативной, поскольку предполагает использование силы для сдерживания революции и победы над карлизмом» (Borrego 2007: 83). При этом понятно, что без «использования силы» в войне победить невозможно; отсюда провозглашаемая теория и выходит на первый план.

Между тем либерально-консервативное крыло партии «модерадос» имело не только центристский «мэйнстрим», но и правую и левую («пуританос») фракции, возглавляемые Х. Браво Мурильо (1803–1873) и Х.Ф. Пачеко-и-Гутьерресом (1808–1865) соответственно; их борьба между собой существенно разнообразит и дополняет образ «врага» в политическом дискурсе зарождающегося в Испании либерального консерватизма.

Так, политическая идентичность Браво, располагающаяся в консервативном идеологическом спектре между либеральным консерватизмом и традиционализмом, превращает данного идеолога в относительного союзника традиционалистов и противника «пуританос» (не говоря уже о либералах), в то время как идентичность Пачеко (между либерализмом и либеральным консерватизмом) делает его относительным союзником либералов и противником фракции правой (не говоря уже о традициона-

листах). К концу жизни, когда они оба начинают заниматься чистым идеологизаторством и освобождаются от противоречий между теорией и практикой, их идеологические идентичности проявляются наиболее ярко.

Для Браво карьера председателя правительства завершается в 1852 г. под ударами не столько его противников (традиционалистов или прогрессистов), сколько союзников из либерально-консервативного «мэйнстрима» и «пуританос», не допустивших реализации пакета предложенных им «абсолютистских» реформ, направленных, как посчитали, на фактический демонтаж созданной Мартинесом конституционной монархии; в результате Браво начинает смещаться еще правее и находит понимание даже у основоположника карлизма (Bullón de Mendoza 1950: 371-372, 349-355, 389-390). Примечательно, что слово «враг» в его переписке с представителями партии «модерадос» и карлистами не используется.

Пачеко, в свою очередь, оказался на посту председателя правительства в самый канун революции 1848–1849 гг. и столкнулся с весьма противоречивыми запросами: монархи требовали от него двигаться вправо, а его фракция «пуританос» – влево. В итоге он оказывается у истоков центристской парламентской коалиции под говорящим названием «Либеральный союз», собравшей в своих рядах правых прогрессистов, испугавшихся грядущего революционного цикла, который завершится в 1868 г. падением Изабель II (левое крыло), и «пуританос», страшившихся уже «абсолютистских» тенденций в политическом курсе этой королевы (правое крыло).

В целом же образ «врага» в политическом дискурсе либеральных консерваторов отличается от традиционалистского тем, что для них не существует «врагов» в среде религиозных деятелей, философов и неиспанцев (на тот момент англичан и французов); все их «враги» – это соотечественники, которых лучше называть не «врагами», а политическими оппонентами, поскольку они являются представителями других партий в парламенте или других (а иногда и собственной, как у Пачеко) фракций в собственной партии и с ними можно как достигать соглашений, так и практиковать противостояние. Несмотря на отдельные эксцессы, связанные с характерными для Испании XIX в. военными переворотами, либеральные консерваторы общаются со своими «врагами» не в застенках Инквизиции, о чем так тосковали традиционалисты типа Лопеса Гарсии, и не на поле битвы, как это делали карлисты, а в парламенте или на страницах периодической печати, сознательно копируя британскую политическую культуру как более высокую по сравнению с традиционной испанской. Следует отметить, что наиболее существенные трансформации в процессе становления либерально-консервативного политического дискурса, связанного с образом «врага», сводятся к тому, насколько жесткие выражения ими используются; как мы увидели это у Мартинеса, своеобразного «законодателя моды», в отношении соратников по партии «модерадос» все артикулируется в рамках предельной корректности, в общении с прогрессистами как левым крылом либералов выбираются мягкие выражения, в адрес же карлистов – самые жесткие (но даже здесь слово «враг» не используется). Аналогичная дифференция в политическом дискурсе провозвестников и первых двух поколений

традиционалистов не прослеживается, поскольку внутреннее разнообразие в рамках этого типа консерватизма является минимальным, а понятие «враг» – общеупотребительным.

Таким образом, образ «врага» в мышлении испанских традиционалистов начинает обретать политические черты лишь во времена ВФР. До нее традиционалистский дискурс развивался, по большому счету, лишь как религиозно-философский с потенциальным использованием политической риторики. Переходный период растянулся на два с половиной десятилетия (1789–1814 гг.), причем десятилетия, связанные с развитием революционного процесса в самой Испании; окончательное же становление сугубо политического дискурса завершилось у традиционалистов лишь к середине XIX в. (именно поэтому Бальмес и Доносо стали «иконами» современных испанских традиционалистов, в то время как их многочисленные предшественники при всем своей исторической значимости так и остались в тени). В этом контексте либеральные консерваторы вообще и испанские в частности – явление исключительно Нового порядка, поскольку их образ «врага» не только является сугубо политическим, то есть не имеющим никаких религиозно-философских коннотаций, но и может распространяться на своих соратников по партии (в данном случае – «модератос»), превращая последних из «врагов» (в понятиях традиционалистов) в политических оппонентов (в современных понятиях). При этом политический дискурс либеральных консерваторов лишен любых военных аллюзий, характерных для первых поколений традиционалистов, благодаря чему трансформируется и образ консерватора в целом: из средневекового рыцаря, отправляющегося в «крестовый поход» против иноверцев и «ложной философии», он превращается в сугубо гражданского политика (в идеале – парламентария или политического журналиста).

Если же несколько выйти за пределы предмета нашего исследования и обратиться к общим для всех типов испанского консерватизма элементам политического дискурса, то можно утверждать, что их объединяет следующее: религия (католицизм), национализм (испанизм) и колониальный империализм – на философско-мировоззренческом уровне и приверженность к монархизму (отсюда и довольно спокойное отношение к (прото)авторитаризму и централизму) – на уровне политико-институциональном. При этом традиционалисты свой политический дискурс выстраивают с опорой на первый уровень, а либеральные консерваторы – на второй. Соответственно и реформистские интенции первоначально могли развиваться вообще только в рамках либерально-консервативного политического дискурса, поскольку в данный исторический период философско-мировоззренческий уровень, сформировавшийся в основополагающих чертах в Средние века, существенным трансформациям уже не мог быть подвергнут. Насколько могут быть проведены дискурсивные параллели между характеристиками испанского консерватизма и особенностями, присущими консерватизму в других странах – это вопрос; но наиболее близкие к испанским вариации встречаются и в Западной, и в Восточной Европе, в том числе в России (Великобритания и Франция здесь являются исключениями), что напрямую связано со спец-

ификой и, скажем так, «исторической скоростью» либерально-буржуазной модернизации в этих странах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Balmes J. 1926a. Escritos políticos. T. 5. Barcelona : Biblioteca Balmes. 462 p.
- Balmes J. 1926b. Escritos políticos. T. 10. Barcelona : Biblioteca Balmes. 457 p.
- Borrego A. 2007. De la organización de los partidos en España, considerada como medio de adelantar la educación de la nación, y de realizar las condiciones del gobierno representativo. Madrid : Centro de estudios políticos y constitucionales. 270 p.
- Bullón de Mendoza A. 1950. Bravo Murillo y su significación en la política española. Madrid : Gráficas Valera. 426 p.
- Cádiz D.J. de. 1794. El soldado católico en guerra de Religión: Carta instructiva ascético-histórico-política en que se propone á un Soldado Católico la necesidad de prepararse, el modo con que lo ha de hacer, y con que debe manejarse en la actual guerra contra el impío partido de la infiel, sediciosa, y Regicida Asamblea de la Francia. Barcelona : Por la viuda Aguasvivas. 182 p.
- Colón J.J. 1814. España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas opiniones que se le atribuyen. Madrid : Imprenta de Repullés. 165 p.
- D. Gaspar de Jovellanos a sus compatriotas: Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la junta central. Y se da razón de la conducta y opiniones del autor desde que recobró su libertad, 1811. Coruña : En la Oficina de D. Francisco Cándido Perez Prieto. 520 p.
- Desengaños filosóficos que en obsequio de la verdad, de la religión, y de la Patria da al público el Doctor Don Vicente Fernández Valcarze, Canónigo de Santa Iglesia Catedral de Palencia. Vol. 1, 1787. Madrid : Por Don Blas Román. 547 p.
- Donoso Cortés J. 1851. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo considerados en sus principios fundamentales. Barcelona : S/E. 412 p.
- El tradicionalismo español del siglo XIX, 1955. Madrid : Prensa Gráfica. 413 p.
- Fornier J.P. 1786. Oración apologética por la España y su mérito literario, para que sirva de exornación al discurso leído por el abate Denina en la Academia de Ciencias de Berlín, respondiendo á la cuestión ¿qué se debe á España? Madrid : En la Imprenta Real. 86 p.
- González Cuevas P.C. 2000. Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días. Madrid : Biblioteca nueva. 525 p.
- Herrero J. 1973. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. Madrid : Cuadernos para el dialogo, Edicusa. 411 p.
- Hervás y Panduro L. 1807. Causas de la Revolución de Francia en el año 1789, y otros medios de que se han valido para efectuarla los enemigos de la religión y del Estado. Vol. 1. Madrid : S/E. 592 p.
- López S. 1808. Despertador Cristiano-Político. Murcia : Por la viuda de Muñoz, é Hijo. 58 p.
- Manifiesto del Obispo de Orense a la nación española, 1813. Coruña : En la oficina del exacto correo. 88 p.
- Manifiesto que presenta a la nación el Consejero de Estado Don Miguel de Lardizabal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el Supremo Consejo de Regencia de España y Indias. Sobre su conducta política en la noche de 24 de septiembre de 1810, 1811. Alicante : Por Nicolas Carratalá Menor y Hermanos. 103 p.
- Menéndez y Pelayo M. Historia de los heterodoxos españoles. Libro Sexto. Capítulo III: El enciclopedismo en España durante el siglo XVIII. VII: Literatura apologética. URL:

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01361608688915504422802/p0000026.htm> (дата обращения: 06.09.2020).

Peñalosa y Zúñiga Fernández de Velasco C. 1793. La monarquía. Madrid : En la Imprenta de la viuda de Ibarra. 480 p.

Pérez y López A.X. 1785. Principios del orden esencial de la naturaleza, establecidos por fundamento, y por prueba de la religión: nuevo sistema filosófico. Madrid : En la Imprenta Real. 352 p.

Rodríguez A.J. 1776. El Philotheo en conversaciones del tiempo. Vol 1. Madrid : En la Imprenta Real de la Gazeta. 540 p.

Schmitt C. 1952. Interpretación europea de Donoso Cortés Madrid : Rialp. 146 p.

Sosa L. de. 1930. Don Francisco Martínez de la Rosa, político y poeta. Madrid : Espasa-Calpe. 255 p.

Suárez Verdeguer F. 2006. Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen // Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada. Nº 12. P. 29-45.

Suárez Verdeguer F. 1947. El golpe de Estado en La Granja // Revista de Estudios Políticos. Nº 35-36. P. 63-123.

Vélez R. de. 1813. Preservativo contra la Irreligión, o los planes de la Filosofía contra la Religión y el Estado, realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España, y dados a luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra patria. México : La oficina de doña María Fernández de Jauregui. 230 p.

Vila y Camps A. 1792. El vasallo instruido en las principales obligaciones que debe á su legítimo Monarca: obra sumamente importante, en la que por las autoridades de la Divina Escritura, Santos Padres, Concilios y Sagrados Cánones, se manifiesta la debida sumision, respecto, amor y fidelidad que todos los vasallos deben á su legítimo Soberano, y á los Ministros que en su real nombre están encargados del gobierno de sus respectivos Reynos y Provincias. Madrid : En la Imprenta de Manuel González. 250 p.

Zevallos y Mier F. de. 1774. La falsa filosofía, ó El ateísmo, deísmo, materialismo y demás nuevas Sectas convencidas del crimen de Estado contra a los Soberanos y sus regalías, contra los Magistrados y Potestades legítimas. Vol. 1. Madrid : En la Imprenta de D. Antonio de Sancha. 488 p.

Yuri V. Vasilenko, National Research University

“Higher School of Economics” – Perm, Perm, Russia.

E-mail: yuvasil@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-7865-6497

ResearcherID: M-5692-2015

SPIN-код: 3073-3627

Article received 08.09.2020, accepted 12.11.2020, available online 11.01.2021

The Image of the “Enemy” in Political Discourse of Nascent Spanish Conservatism

Abstract. The article is devoted to the transformation of the image of “enemy” in the emerging conservative political discourse in Spain in the last third of the 18th – first half of the 19th centuries. Comparing the image of “enemy” in the political discourse of traditionalists and liberal conservatives, the author shows that the first is based on

religious and philosophical foundations, on which the political ones were layered with great difficulty at the beginning of the 19th century; the second is based on purely political ones. For the Spanish traditionalists, “enemies” are primarily the supporters of the so-called “false philosophy” (non-Catholics and non-Spaniards) who were followers of the British-French Enlightenment. Liberal conservatives who in principle abandoned any military connotations of the traditionalists interpreted the “enemy” exclusively in civil legal terms as political opponents from competing or allied structures (parties and party factions). Within the framework of traditionalism, the Carlists become a kind of “driver” for the transformation of the image of “enemy” who, in the conditions of intra-dynastic wars between Catholics and Spaniards, were forced to begin giving their discourse a purely political sound.

Keywords: image of “enemy”; conservative discourse; traditionalism; liberal conservatism; Carlism; Spain of the XVIII–XIX centuries.

For citation: Vasilenko Yu.V. *Obraz «vraga» v politicheskom diskurse zarozhdajushhegosja ispanskogo konservatizma* [The Image of the “Enemy” in Political Discourse of Nascent Spanish Conservatism], *Antinomii=Antinomies*, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 82-100. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10405. (in Russ.).

References

Balmes J. *Escritos políticos. T. 5* [Political writings, vol. 5], Barcelona, Biblioteca Balmes, 1926, 462 p. (in Spanish).

Balmes J. *Escritos políticos. T. 10* [Political writings, vol. 10], Barcelona, Biblioteca Balmes, 1926, 457 p. (in Spanish).

Borrego A. *De la organización de los partidos en España, considerada como medio de adelantar la educación de la nación, y de realizar las condiciones del gobierno representativo* [Of the organization of the parties in Spain, considered as a means to promote the education of the nation, and to realize the conditions of the representative government], Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, 2007, 270 p. (in Spanish).

Bullón de Mendoza A. *Bravo Murillo y su significación en la política española* [Bravo Murillo and its significance in Spanish politics], Madrid, Gráficas Valera, 1950, 426 p. (in Spanish).

Cádiz D.J. de. *El soldado católico en guerra de Religión: Carta instructiva ascético-histórico-política en que se propone á un Soldado Católico la necesidad de prepararse, el modo con que lo ha de hacer, y con que debe manejarse en la actual guerra contra el impío partido de la infiel, sediciosa, y Regicida Asamblea de la Francia* [The Catholic soldier at war of religion: ascetic-historical-political instructive letter in which a Catholic soldier is proposed the need to prepare himself, the manner in which he must do it, and with which he must be handled in the current war against the ungodly party of the unfaithful, seditious, and regicidal Assembly of France], Barcelona, Por la viuda Aguasvivas, 1794, 182 p. (in Spanish).

Colón J.J. *España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas opiniones que se le atribuyen* [Spain vindicated in its classes and authorities of the false opinions attributed to it], Madrid, Imprenta de Repullés, 1814, 165 p. (in Spanish).

D. Gaspar de Jovellanos a sus compatriotas: Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la junta central. Y se da razón de la conducta y opiniones del autor desde que recobró su libertad [D. Gaspar de Jovellanos to his compatriots: memory in which the slander disclosed against the individuals of the central junta is rebutted.

And the author's conduct and opinions are justified since his release], Coruña, En la Oficina de D. Francisco Cándido Perez Prieto, 1811, 520 p. (in Spanish).

Desengaños filosóficos que en obsequio de la verdad, de la religión, y de la Patria da al público el Doctor Don Vicente Fernández Valcarze, Canónigo de Santa Iglesia Catedral de Palencia. T. 1 [Philosophical disillusionment given to the public by Dr. Don Vicente Fernandez Valcarze, canon of Santa Iglesia Catedral de Palencia, vol. 1], Madrid, Por Don Blas Román, 1787, 547 p. (in Spanish).

Donoso Cortés J. *Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo considerados en sus principios fundamentales* [Essay on Catholicism, liberalism and socialism considered in its fundamental principles], Barcelona, S/E, 1851, 412 p. (in Spanish).

El tradicionalismo español del siglo XIX [Spanish traditionalism of the 19th century], Madrid, Prensa Gráfica, 1955, 413 p. (in Spanish).

Forner J.P. *Oración apologética por la España y su mérito literario, para que sirva de exornación al discurso leído por el abate Denina en la Academia de Ciencias de Berlín, respondiendo á la cuestión ¿qué se debe á España?* [Apologetic prayer for Spain and its literary merit, to serve as an exornamento to the speech read by abate Denina at the Berlin Academy of Sciences, answering the question: What is due to Spain?], Madrid, En la Imprenta Real, 1786, 86 p. (in Spanish).

González Cuevas P.C. *Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días* [History of the Spanish right. From Illustration to the present day], Madrid, Biblioteca nueva, 2000, 525 p. (in Spanish).

Herrero J. *Los orígenes del pensamiento reaccionario español* [The origins of Spanish reactionary thought], Madrid, Cuadernos para el dialogo, Edicusa, 1973, 411 p. (in Spanish).

Hervás y Panduro L. *Causas de la Revolución de Francia en el año 1789, y otros medios de que se han valido para efectuarla los enemigos de la religión y del Estado. T. 1* [Causes of the revolution of France in the year 1789, and other means that have been used to effect it the enemies of religion and the state, vol. 1], Madrid, S/E, 1807, 592 p. (in Spanish).

López S. *Despertador Cristiano-Político* [Christian-Political Alarm Clock], Murcia, Por la viuda de Muñiz, é Hijo, 1808, 58 p. (in Spanish).

Manifiesto del Obispo de Orense a la nación española [Manifiesto of the bishop of Orense to the Spanish nation], Coruña, En la oficina del exacto correo, 1813, 88 p. (in Spanish).

Manifiesto que presenta a la nación el Consejero de Estado Don Miguel de Lardizabal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el Supremo Consejo de Regencia de España y Indias. Sobre su conducta política en la noche de 24 de septiembre de 1810 [Manifiesto that presents to the nation the State Councilor Don Miguel de Lardizabal and Uribe, one of the five that made up the Supreme Council of Regency of Spain and Indias. On his political conduct on the night of September 24, 1810], Alicante, Por Nicolas Carratalá Menor y Hermanos, 1811, 103 p. (in Spanish).

Menéndez y Pelayo M. *Historia de los heterodoxos españoles. Libro Sexto. Capítulo III: El enciclopedismo en España durante el siglo XVIII. VII: Literatura apologética* [History of the Spanish heterodox. Book Six. Chapter 3: Encyclopedism in Spain during the eighteenth century. VII: Apologetic literature], available at: <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01361608688915504422802/p0000026.htm> (accessed September 06, 2020). (in Spanish).

Peñalosa y Zúñiga Fernández de Velasco C. *La monarquía* [Monarchy], Madrid, En la Imprenta de la viuda de Ibarra, 1793, 480 p. (in Spanish).

Pérez y López A.X. *Principios del orden esencial de la naturaleza, establecidos por fundamento, y por prueba de la religión: nuevo sistema filosófico* [Principles of the essential Order of nature, established by Foundation, and by proof of religion: new philosophical

system], Madrid, En la Imprenta Real, 1785, 352 p. (in Spanish).

Rodríguez A.J. *El Philotheo en conversaciones del tiempo. T. 1* [The Philotheo in conversations of time, vol. 1], Madrid, En la Imprenta Real de la Gazeta, 1776, 540 p. (in Spanish).

Schmitt C. *Interpretación europea de Donoso Cortés* [European interpretation of Donoso Cortes], Madrid, Rialp, 1952, 146 p. (in Spanish).

Sosa L. de. *Don Francisco Martínez de la Rosa, político y poeta* [Don Francisco Martinez de la Rosa, politician and poet], Madrid, Espasa-Calpe, 1930, 255 p. (in Spanish).

Suárez Verdeguer F. *Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen* [Conservatives, innovators and renovators in the aftermath of the Old Regime], *Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada*, 2006, no. 12, pp. 29-45. (in Spanish).

Suárez Verdeguer F. *El golpe de Estado en La Granja* [The coup d'état in La Granja], *Revista de Estudios Políticos*, 1947, no. 35-36, pp. 63-123. (in Spanish).

Vélez R. de. *Preservativo contra la Irreligión, o los planes de la Filosofía contra la Religión y el Estado, realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España, y dados a luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra patria* [Condom against irreligion, or the plans of Philosophy against religion and the State, made by France to subjugate Europe, followed by Napoleon in the conquest of Spain, and given birth by some of our sages to the detriment of our homeland], México, La oficina de doña María Fernández de Jauregui, 1813, 230 p. (in Spanish).

Vila y Camps A. *El vasallo instruido en las principales obligaciones que debe á su legítimo Monarca: obra sumamente importante, en la que por las autoridades de la Divina Escritura, Santos Padres, Concilios y Sagrados Cánones, se manifiesta la debida sumision, respecto, amor y fidelidad que todos los vasallos deben á su legítimo Soberano, y á los Ministros que en su real nombre están encargados del gobierno de sus respectivos Reynos y Provincias* [The vassal instructed in the principal duties he owes to his legitimate Monarch: an extremely important work, in which by the authorities of divine scripture, Holy Fathers, councils and Sacred Canons, the due submission, respect, love and fidelity that all vassals owe to their legitimate sovereign, and to the ministers who in their real name are in charge of the government of their respective kingdoms and provinces], Madrid, En la Imprenta de Manuel González, 1792, 250 p. (in Spanish).

Zevallos y Mier F. de. *La falsa filosofía, ó El ateísmo, deísmo, materialismo y demás nuevas Sectas convencidas del crimen de Estado contra a los Soberanos y sus regalías, contra los Magistrados y Potestades legítimas. T. 1* [False philosophy, or atheism, deism, materialism and other new sects convinced of the crime of State against sovereigns and their royalties, against magistrates and legitimate powers, vol. 1], Madrid, En la Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1774, 488 p. (in Spanish).



Рааб Р.С. Правопонимание Фридриха Августа фон Хайека: между либеральной идеологией и социальной теорией. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10406 // Антиномии. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 101–123.

УДК 340.12

DOI 10.24411/2686-7206-2020-10406

Правопонимание Фридриха Августа фон Хайека: между либеральной идеологией и социальной теорией

Руслан Султанович Рааб

аспирант факультета права

Национального исследовательского университета

«Высшая школа экономики»

г. Москва, Россия.

E-mail: rraab@hse.ru

*Статья поступила 17.08.2020, принята к печати 19.10.2020,
доступна online 11.01.2021*

В статье предпринимается попытка переосмыслить и реактуализировать теоретическое наследие Фридриха Августа фон Хайека в сфере юриспруденции. На примере работ профессора И.Ю. Козлихина, а также ряда зарубежных исследователей, автор демонстрирует существенные пробелы и искажения, присущие современной литературе о правопонимании Хайека. По мере этого критического исследования выявляется целый ряд малоизвестных аспектов теории права Хайека, которые не только позволяют составить более корректное представление о правовых идеях известного австрийского ученого, но и выдвинуть новую гипотезу относительно



© Рааб Р.С., 2020

предельных оснований хайкевской концепции права. Согласно данной гипотезе, ключом к осмыслению оригинального вклада Хайека в философию права является вовсе не либеральная идея свободы и рынка, но фундаментальная социальная теория, в основе которой лежит специфическая эпистемология Хайека. Либеральная идеология многое объясняет в его работах, но не позволяет достаточно четко отделить право от не-права в теории Хайека. Лишь благодаря эпистемологии Хайека мы можем отделить право как «правила справедливости» от всех остальных социальных институтов в его концепции. Основой для данного отделения служит эпистемологическое различие «простых» и «сложных» феноменов, социо-структурным эквивалентом которого является хайкевское различие «организации» (*Taxis*) и «порядка расширенного сотрудничества» (*Kosmos*). Поскольку лишь последний является феноменом «сложного» типа, то для поддержания данного порядка требуются мета-рациональные правила справедливости, только и способные преодолеть ограниченность человеческого знания в отношении комплексных социальных структур, не поддающихся рациональному осмыслению. По мнению автора статьи, именно эта сугубо «техническая» особенность права как правил справедливости выступает фундаментом правопонимания Хайека. Автор приходит к выводу, что дальнейшее исследование оригинального вклада Хайека в философию права зависит от анализа эпистемологической составляющей его социальной теории, а не от идеологии свободы и рынка.

Ключевые слова: Фридрих Август фон Хайек, теория права, право и ценности, право и социальный порядок, эпистемология.

Введение. Хотя работы Фридриха Августа фон Хайека уже давно стали классикой политико-правовой мысли, исследователи его творчества так и не пришли к единому мнению о сущности правопонимания Хайека. Кто-то пытается описать это правопонимание сквозь призму абстрактных критериев «господства права» (Goldsworthy 1986: 49), другие же ищут ответ в конкретно-исторических образцах английского *common law* (Covell 1992: 229). Одни ученые считают его теоретиком естественного права (Angner 2007: 22), в то время как иные видят в Хайеке чуть ли не юридического формалиста «кельзеновского» типа (Posner 2003: 288). Авторитетному мнению о том, что в хайкевских работах «Конституция свободы» и «Правила и порядок» изложена одна и та же теория права (Barry 1982: 82), противостоит другое, не менее авторитетное мнение, согласно которому Хайек изложил в этих работах чуть ли не две диаметрально противоположные правовые концепции (Shearmur 1996: 32). Если что-то и объединяет все эти разрозненные и противоречащие друг другу точки зрения, то это стремление осмыслить правопонимание Хайека как продолжение его либеральных взглядов на вопросы политики и экономики.

Сам по себе данный подход вполне корректен, и он многое объясняет в работах Хайека. В то же время, излишнее внимание к либерально-идеологической составляющей его текстов подчас серьезно упрощает сложную картину правопонимания Хайека. Абсолютизируя те или иные аспекты хайкевской концепции права, авторы нередко упускают из виду многочисленные тонкости и нюансы, которые не кажутся важными с точки зрения либеральной идеологии. Такой упрощенный взгляд не только порождает

противоречивые авторские трактовки, но и мешает оценить оригинальный вклад Хайека в философию права XX века. Неудивительно, что некоторые исследователи даже посчитали его социально-политическую теорию лишней перспектив дальнейшего развития (Grey 1998: 143).

С другой стороны, современное состояние наших исследований свидетельствует о преждевременности подобных выводов. Ведь если ранее Хайек воспринимался преимущественно как представитель устаревшей идеологии либерализма, то сегодня его идеи привлекают все большее внимание в теоретической социологии (Filipov, Fatkhatdinov 2017: 10). На наш взгляд, только такой поворот к социально-теоретическому прочтению Хайека способен реактуализировать его наследие в социальных науках, а также лечь в основу более целостной интерпретации его правопонимания. Предельным основанием этой интерпретации будет уже не политическая теория свободы и рынка, но фундаментальные представления Хайека об основах социальной структуры сложного современного общества. Источником этих представлений является довольно специфическая эпистемология, с помощью которой Хайек описывает и объясняет природу социальной реальности. Согласно нашей гипотезе, лишь эти социально-теоретические и эпистемологические идеи Хайека способны пролить свет на сущность права в его концепции.

Справедливости ради стоит отметить, что сторонники либерально-демократической интерпретации Хайека также нередко указывают на значимость его эпистемологии (Miller 2010: 54; Кубедду 2008: 126 и др.). Например, профессор И.Ю. Козлихин указывает не только на «тотальное» значение идеи свободы в философии Хайека, но и на важную роль теории познания (Козлихин 1992: 69). Однако в итоге его трактовка все равно оказывается одной из традиционных либеральных интерпретаций, в которой упущено не мало важных моментов. Так что формальное указание на значимость хайековской теории познания далеко не всегда подразумевает действительное осмысление концепции права Хайека в свете его же эпистемологии и социальной теории.

В настоящем исследовании мы попытаемся исправить такое положение дел и представить альтернативный взгляд на правопонимание Хайека исходя из его социально-эпистемологической концепции. С этой целью мы внимательно рассмотрим классическую либерально-демократическую интерпретацию правопонимания Хайека на примере работ профессора И.Ю. Козлихина, дабы понять, какие аспекты хайекианского правопонимания нередко игнорируются представителями подобного подхода. Лишь по итогу этого исследования мы сможем продемонстрировать недостаточность традиционных интерпретаций, а также выдвинуть новую гипотезу относительно предельных оснований теории права Хайека.

Право и «общие ценности». Наш критический анализ классического либерально-идеологического подхода к изучению теории права Хайека хотелось бы начать с вопроса о том, какое место в этой картине правопонимания отведено всеобщим социальным ценностям. Будучи «коллективными», данные ценности зачастую не получают должного внимания при

исследовании «индивидуалистической» философии Хайека. Исследование профессора И.Ю. Козлихина при всех своих многочисленных достоинствах не стало исключением из этой тенденции. По мнению профессора, «постулируя бесспорную мысль о разнообразии людей, Хайек приходит к весьма спорному выводу о невозможности общих ценностей в обществе» (Козлихин 1992: 75). Утверждается, что (согласно Хайеку) из-за фактических ценностных расхождений между разрозненными индивидами «ни в одном обществе единого представления о справедливости существовать не может» (Козлихин 1992: 73). А раз «общих представлений о справедливости в обществе существовать не может, то не может существовать и этического обоснования закона» (Козлихин 1992: 72).

Опираясь на эти рассуждения, профессор И.Ю. Козлихин приходит к выводу, что теория права Хайека основана на крайне сомнительной идее о невозможности общих ценностей в обществе, следствием чего оказывается и невозможность общепризнанного стандарта справедливости как основы правопорядка. В этом, по мнению профессора, заключается одно из наиболее слабых мест концепции права Хайека. Но так ли это? Если бы Хайек действительно отрицал саму возможность всеобщих социальных ценностей, то обозначенная выше критика была бы вполне уместной. Проблема лишь в том, что ни в одной из своих работ Хайек не утверждал ничего подобного. Он не только не отрицал саму возможность такого рода всеобщих институциональных ценностей даже в современном «индивидуалистическом» обществе. Совсем наоборот: идея всеобщих ценностей образует центральное ядро его социальной теории. По мнению Хайека, именно эти общие ценности выступают основой общепризнанного стандарта справедливости, благодаря которому мы и можем говорить об истинном праве как «правилах справедливого поведения (курсив наш. – P. P.)» (*rules of just conduct*) (Hayek 1982a: 122). Утверждение об отсутствии в философии Хайека идеи «общих ценностей в обществе» не только противоречит содержанию текстов данного автора, но и в принципе исключает сколько-нибудь удовлетворительное понимание его теории права. Поэтому представляется необходимым более подробно рассмотреть взгляд Хайека на феномен общих социальных ценностей как основы правовых институтов.

Согласно Хайеку, общие ценности это не просто основание intersubjectивных представлений о праве и справедливости. Они – важнейшее условие социальной коммуникации как таковой (Hayek 1967d: 130), и без них люди не смогли бы даже элементарно понять друг друга. Столь фундаментальная роль общих ценностей обусловлена вовсе не аксиологическим догматизмом. Если что-то и является причиной особого акцента на важности общих ценностей, так это весьма изощренный когнитивный¹ подход Хайека к пониманию ценностных структур человеческого мышления. Когнитивные структуры, описанные в эпистемологии Хайека под именем «ценностей», функционально ничем не отличаются от любых других установок или

¹ Когнитивная теория Хайека изложена в его работе «The Sensory Order» (Hayek 1952).

диспозиций мышления. Единственное их существенное отличие состоит в том, что данные установки являются в высшей степени абстрактными и по большей части не до конца осознанными (Найек 1967с: 56). Проще говоря, это крайне «неуловимые», но при этом очень важные когнитивные структуры, определяющие наиболее общие предпосылки всех процессов интерпретации, протекающих в человеческом разуме (Найек 1967с: 56).

«Неуловимость» этих интерпретативных структур мышления особенно подчеркивается Хайеком в его концепции «чувства права» (*sense of justice*) (Найек 1967с: 45). Данное «чувство» являет собой способность отличать правовое от неправового исходя из общих ценностных соображений, не всегда поддающихся вербальной артикуляции. Общность этих ценностных соображений не является чем-то производным от сообщества, выделенного по какому-то иному признаку (например, единству территории). Наоборот, сам факт существования сообщества конституируется общим «чувством справедливости» и вытекающим отсюда «согласием в вопросах права». В этом плане Хайека можно признать одним из продолжателей не столько даже либеральной, сколько республиканской традиции (Shearmur 2007: 150).

Однако и здесь традиционные либеральные интерпретации, обусловленные недостаточным пониманием хайековской теории абстрактных ценностных структур, привели к забвению Хайека как теоретика республиканизма. В то время как ведущий представитель современной республиканской теории Ф. Петтит с легкой руки записывает Хайека в число «либералов» (Петтит 2016: 168), ставя его в один ряд с И. Бенхамом и Дж.Ст. Миллем (что весьма странно), именно хайекианская теория «чувства права» как абстрактных ценностей демонстрирует свой потенциал для осмысления ряда вопросов республиканизма. Взять хотя бы споры некоторых республиканцев о сущности цицероновского *consensus iuris* как основы политического сообщества. Пока одни настаивают на том, что слово *con-sensus* означает единство рационально-сознательного представления о праве, другие предпочитают видеть в этом идею иррационально-чувственной общности в вопросах права. Если одни делают акцент на понимании слова *sensus* как «разума», то другие обращают особое внимание на смысловой оттенок «чувства», столь хорошо угадываемый в современном английском *sense*. Хайек же развивает эпистемологическую теорию, в которой противопоставление чувства и разума на абстрактно-ценностном уровне мышления оказывается по-гегелевски «снятым». Как сам автор описывает рационально-чувственную природу ценностей, то, что мы называем чувством, на самом деле «имеет гораздо больше сходства с интеллектуальными, нежели эмоциональными процессами» (Найек 1990d: 47). Осуществляя эпистемологический синтез чувственных и рациональных аспектов мышления на уровне абстрактных ценностей Хайек позволяет по-новому взглянуть как на идею «согласия в вопросах права», так и на многие другие философско-правовые вопросы.

Более того, общие ценности выступают основой не только социальной коммуникации между гражданами, «согласными в вопросах права»,

но и основой индивидуального познающего разума как такового (Найек 1990с: 7). Следуя постпозитивистской традиции в социальных науках, Хайек утверждает, что даже элементарное восприятие дискретного факта как «сущего» коренным образом зависит от ценностных структур индивидуального мышления (Найек 1982а: 7). Эти интерпретативно-ценностные структуры формируются не только в ходе познания материального мира, но и мира социального, ввиду чего античная идея, согласно которой гражданин обязан полису разумностью своей души, обретает в теории Хайека свое когнитивно-эпистемологическое обоснование.

Все эти, а также многие другие рассуждения Хайека о роли общих ценностей как абстрактных структур мышления, играют ключевую роль в его теории права. Только благодаря им мы можем разрешить целый ряд якобы имеющихся «противоречий» в правопонимании Хайека, а также, например, понять, почему его взгляды столь близки к теории права Лона Фуллера (Postema 2011: 141), но при этом не вполне сочетаются с воззрениями Рональда Дворкина, внешне чем-то похожими на концепцию Хайека. Уловить эту идею общих ценностей не всегда просто: где-то она описывается как «чувство права», где-то как «общее мнение» (*opinion*), а где-то и вообще как «традиции» или «обычаи». Но, несмотря на терминологическое многообразие, все эти рассуждения отсылают к хайековской идее общих ценностей как предельных интерпретативных структур индивидуального правосознания, от которых зависит процесс возникновения, изменения и применения права.

Если верить Хайеку, «мы понимаем друг друга и можем мирно сосуществовать... потому, что большую часть времени представители нашей цивилизации соблюдают бессознательные паттерны поведения... которые не является результатом приказов или принуждения, а зачастую даже и не осознаются, но являются результатом следования сложившимся привычкам и традициям. <...> Та истина, которую все великие апостолы свободы... неустанно повторяли, заключается в том, что свободы никогда не существовало без глубоко укоренившихся моральных убеждений, и минимизировать принуждение можно только тогда, когда от индивидов можно ожидать, что они будут добровольно соблюдать определенные принципы» (Найек 1978: 62). Эти добровольно соблюдаемые принципы как раз и представляют собой то, что можно назвать «общими ценностями общества». Данные ценности выступают основой всеобщего согласия в вопросах права и справедливости, без которого ни одна правовая система не способна нормально функционировать. Как показал критический анализ работ профессора И.Ю. Козлихина, «коллективистские» идеи всеобщего ценностного консенсуса не всегда учитываются в либеральных интерпретациях «индивидуалистической» теории Хайека. Лишь указав на необходимость исправить подобного рода упущение, мы можем перейти к исследованию других аспектов концепции права Хайека.

Право как «социальный порядок». Не только проблема «общих ценностей» периодически нивелируется в либерально-идеологических интерпретациях правопонимания Хайека. Подобные интерпретации

предполагают анализ хайековской теории права в контексте различных социально-политических и экономических явлений, что само по себе является правильным. В то же время, рассмотрение права с учетом всех этих контекстов подчас приводит к недостаточно четкому отделению права как системы правил поведения от социального порядка как системы правоотношений. Сталось так, что статья профессора И.Ю. Козлихина предоставляет нам пример подобного смешения. Как пишет профессор, «спонтанным правопорядком, т.е. истинным правом, Хайек считает частное право или шире английское общее право складывающееся через правовые обычаи и деятельность суда» (Козлихин 1992: 70).

В том, что «истинное право» в хайекианской теории является ничем иным, как «спонтанным правопорядком», есть немалая доля дидактической истины. Согласимся с тем, что право в теории Хайека действительно является разновидностью спонтанного порядка. Однако профессор не уточняет, что представляют из себя элементы этого порядка. Если он имеет в виду, что элементами права как «спонтанного порядка» являются правила поведения, то его суждение согласуется с учением Хайека. Но уже следующая мысль, согласно которой право – это «спонтанно складывающийся правопорядок» (Козлихин 1992: 71), в контексте отечественной теории права может быть расценена как указание на то, что право есть порядок правоотношений, т.е. возникший на основе правовых норм социальный порядок. И если мы трактуем слова профессора И.Ю. Козлихина именно таким образом, то они входят в некоторое противоречие с правопониманием Хайека.

По мнению австрийского экономиста, очень важно иметь в виду, что «система правил индивидуального поведения и упорядоченность действий, возникающая в силу того, что индивиды осуществляют поведение в соответствии с этими правилами, это не одно и то же» (Науек 1967b: 67). Право как система правил индивидуального поведения и спонтанный порядок социальных интеракций тесно взаимосвязаны в теории Хайека. В некотором роде нормативная система как продукт и одновременно образующий фактор социального порядка сама есть спонтанно возникшая упорядоченность юридических конструкций. Но ни в коем случае не спонтанно складывающийся правопорядок в смысле упорядоченности поведения индивидов, возникающей в силу действия норм.

Связь социального порядка с правом как системой правил поведения играет важную роль в правопонимании Хайека. С одной стороны, сложный спонтанный порядок невозможен без особого рода «правил справедливого поведения», которые Хайек описывает сквозь призму формальных признаков «господства права» (всеобщность и абстрактность правил, юридическая определенность, перспективность, и т.д.). Именно этим «неоригинальным» (Козлихин 1992: 71) признакам права как раз и уделяется основное внимание в «традиционных» либеральных интерпретациях. С другой стороны, сама сущность права как правил справедливости во многом определяется не какими-то формальными критериями права, но особыми функционально-эпистемическими свойствами спонтанного порядка «расширенного

сотрудничества»¹. И поскольку этот сложный спонтанный порядок совершенно непознаваем для человеческого разума во всей полноте своих процессов, мы не можем исчерпывающе описать и те формальные критерии права, которые призваны отражать его связь со спонтанным порядком.

Во многом именно эта комплексная природа права и спонтанного порядка не позволяет схватить правопонимание Хайека в виде некоей дефиниции права². Те «неоригинальные» признаки права, которые приводит Хайек, играют в его философии пусть и важную, но в целом скорее инструментальную роль. Они призваны лишь помочь нам отсеять какие-то очевидно неправовые статуты или обычаи и на исчерпывающее выражение правопонимания Хайека не претендуют. Как мы уже отметили, факт непознаваемости сложного спонтанного порядка не позволяет четко описать «правила справедливого поведения» через набор формальных признаков. Следствием этого являются многочисленные отклонения от этих формальных критериев права, обусловленные представлением Хайека о сложном социальном порядке. Данные исключения очень важны в общей картине правопонимания Хайека, и до тех пор, пока не будет установлено достаточно четкое *разграничение права и социального порядка*, мы не сможем понять логику этих исключений.

Ярким примером здесь служит такой формальный критерий права, как «негативность» правовых норм. Хайек утверждает, что право как «правила справедливого поведения» всегда представляет собой всеобщие абстрактные запреты, но ни в коем случае не позитивные обязанности (Найек 1982b: 36). Важность этого тезиса для осмысления теории права Хайека трудно переоценить, и мы настаиваем на том, что понимание правовых норм как абстрактных запретов составляет важнейшую черту его концепции. В то же время, даже столь фундаментальный критерий права иногда отступает перед императивами социального порядка, с которым приходится считаться.

Так, постулируя обще-запретительную природу права, Хайек сразу же делает оговорку, что некоторые разделы семейного права составляют исключение из этого правила (Найек 1982b: 36). Учитывая то, что данная отрасль права касается очень важной для каждого человека сферы жизнедеятельности, значимость этого исключения не стоит недооценивать. Но не только семейное право сопряжено с нарушением «формальных» критериев. Здесь же Хайек приводит еще один пример, связанный с позитивной обязанностью по оказанию помощи людям, терпящим бедствие в открытом море (Найек 1982b: 36). Данная оговорка может показаться отдельным казусом, однако не исключено, что и целый ряд иных ситуаций может быть рассмотрен по ана-

¹ Термин «порядок расширенного сотрудничества» (*extended order*) используется Хайеком для описания сложного капиталистического общества (Найек 1992: 6).

² Если в «Конституции свободы» Хайек еще пытается сформулировать общую дефиницию права, то в работе «Правила и порядок» мы уже не видим какого-то четкого понятия. Не исключено, что нежелание Хайека заниматься поиском «понятия права» обусловлено в том числе и влиянием Карла Поппера, критиковавшего «Конституцию свободы» за академическую практику «раздачи дефиниций» (Notturmo 2015: 40).

логии с подобным фактическим составом. Путь Хайек, по всей видимости, не очень хотел нарушать четкость своих формальных критериев права, однако признал, что «есть несколько исключительных случаев, в которых... человек оказывается особенно тесно связан с другими людьми, и в силу этого становится носителем специфических обязанностей по отношению к ним» (Науек 1982b: 36). Говоря о потенциальном увеличении количества такого рода правовых, но при этом «позитивных» обязанностей, Хайек не видит в этом особой угрозы для своей теории «негативных» правовых норм. Хотя и отмечает, что «в будущем не исключаются и дальнейшие шаги в данном направлении» (Науек 1982b: 36), а значит и перечень позитивных правовых обязанностей остается открытым для обсуждения.

Таковы некоторые исключения из формального критерия «негативности» права, которые продиктованы спецификой сложного социального порядка в ряде конкретных ситуаций. Хотя логика этих ситуаций и не вписывается в рамки формальных критериев права, сама по себе она не лишена значения с точки зрения вопросов права и справедливости. Оценить эту логику можно лишь предварительно различив право и социальный порядок в теории Хайека. В ином случае мы рискуем не увидеть сложную взаимосвязь права и социального порядка и вследствие этого поспешно обвинить Хайека в логической «непоследовательности». По всей видимости, нечто подобное как раз и случилось с М. Ротбардом (Rothbard 1998: 229) и Р. Хамоуи (Hamowy 1978: 288; Hamowy 1961), которые серьезно критиковали Хайека за размывание строгих понятийно-логических рамок в сфере рассуждений о праве, свободе и собственности. Они не учли, что Хайек придавал большое значение не только праву как системе формальных правил, подчиненных «чистой логике собственности», но и непознаваемому социальному порядку, чье влияние на эту систему не всегда можно примирить с некими концептуальными построениями относительно сущности права. Связь права как системы правил с социальным порядком такова, что даже при всей значимости формальных критериев права Хайек допускает некоторые исключения, продиктованные логикой социального порядка. Именно поэтому он так настаивает на необходимости четкого разграничения права как системы правил индивидуального поведения и социального порядка как упорядоченности человеческих взаимодействий, возникшей в силу реализации правовых норм.

Впрочем, либеральные интерпретации, не уделяющие должного внимания этому разграничению, также возникли не без оснований. Хотя логика социального порядка и дополняет «чистую логику собственности», последняя обладает не меньшей, а возможно и большей значимостью в теоретических рассуждениях Хайека. Ввиду этого представляется вполне закономерным, что многие авторы, по сути, приравнивали термины «право» и «частное право» при описании хайекианской концепции. И поскольку идея понимания права как институтов собственности, контракта и деликта действительно занимает в работах Хайека видное место, представляется оправданным более детально изучить вопрос о возможности отождествить право и частное право в его правопонимании.

Право как «частное право». Осознавая очевидную неполноту формальных критериев права в теории Хайека, многие авторы пытаются описать его политико-правовые взгляды не через абстрактные дефиниции, а через отождествление правопонимания Хайека с конкретными отраслями права. Такой подход является вполне обоснованным и продуктивным, не в последнюю очередь потому, что и сам Хайек пользуется этой «отсылочной» стратегией. Поясняя свои правовые взгляды он нередко шел от противного, утверждая, что его понимание права не включает норм административного (Науек 1982а: 137), финансового (Науек 1982а: 136), социально-обеспечительного (Науек 1982а: 142) и даже конституционного права (Науек 1982а: 134). Все эти отрасли не являются «истинным правом» в хайекианском смысле данного слова. Если какая-то отрасль права и ассоциируется с истинным правом, то это *частное право*.

Эксплицитная отсылка к частному праву стала одной из ключевых опорных точек в деле интерпретации правопонимания Хайека как типичного адепта либеральной традиции. Как отмечает профессор И.Ю. Козлихин, в общих чертах характеризуя его теорию права, «истинным правом... Хайек считает частное право» (Козлихин 1992: 70). Заметим, что такой подход характерен не только для профессора И.Ю. Козлихина, но и для подавляющего большинства зарубежных публикаций. В общем и целом мы могли бы солидаризироваться с данным подходом, но с одной оговоркой: отождествление права и «частного права» применительно к теории Хайека является скорее вспомогательно-дидактической стратегией, нежели точной характеристикой. Несмотря на широкое признание, эта стратегия упускает из виду ряд немаловажных аспектов, в силу чего представляется необходимым рассмотреть ее более внимательно.

Помимо явной неопределенности термина «частное право», область охвата которого может варьироваться не только в зависимости от особенностей конкретного правопорядка, но и в силу доктринальных расхождений между отдельными авторами, данный термин не может быть отождествлен с хайекианским пониманием права по целому ряду иных причин. Как минимум потому, что Хайек подчеркивает не только связь между «истинным правом» и частным правом, но и весьма условный характер этого отождествления (Науек 1982а: 131). Далекое не всегда частное право и «право» в смысле теории Хайека совпадают. И что еще более проблематично, далеко не всегда Хайек говорит нам о том, в чем именно состоит это несовпадение. Поэтому далее мы попытаемся коснуться как более явных оговорок, так и тех, которые не учитываются большинством исследователей.

Начать стоит с наиболее важного вопроса, возникающего при определении правопонимания Хайека через частное право. А именно вопроса о том, какое место в этом цивилистическом правопонимании отведено нормам уголовного права. Входит ли уголовное право в сферу права как «частного права»? К сожалению, в рассматриваемой нами статье профессора И.Ю. Козлихина на этот счет нет никаких явных суждений. В то же время мы имеем возможность ознакомиться с другой его работой, в которой по данному вопросу была сформулирована более явная позиция.

Так, в своем фундаментальном исследовании о праве и политике профессор обращается к правовым идеям Хайека, и, в частности, пытается раскрыть взгляд данного автора на соотношение частного и публичного права. По мере объяснения читателю, почему Хайек ассоциирует господство права именно с частным правом, профессор И.Ю. Козлихин утверждает, что, согласно концепции Хайека, «публичное право настолько право, насколько оно воспринимает принципы, естественно сложившиеся в сфере частного права» (Козлихин 2012: 111). Если учесть, что Хайек достаточно категорично отрицал правовой характер публичного права (Науек 1982а: 133) и даже усомнился в том, насколько уместно называть специалистов по публичному праву «юристами» (Науек 1982а: 134), то высказывание профессора относительно места публичного права в философии Хайека наводит на некоторые сомнения. Еще большие сомнения вызывает размышление профессора, согласно которому в этой хайекианской парадигме господства права наиболее «анти-цивилистической» отраслью права является именно уголовное право (Козлихин 2012: 111). Получается, что уголовное право не просто исключается из сферы права-как-частного-права, но и четко противопоставляется подобному типу мышления о господстве права.

Действительно ли Хайек рассуждал подобным образом? Едва ли. Как и в случае с теорией «общих ценностей», рассуждение профессора И.Ю. Козлихина, согласно которому хайекианская теория права как частного права противопоставляется уголовному праву, не во всем совпадает с рассуждениями самого Хайека. Ведь если мы обратимся к многочисленным политико-правовым текстам данного автора, то увидим, что не только в самых поздних, но и в более ранних работах Хайек не противопоставлял частное право уголовному¹. Наоборот, он пишет, что в его понимании уголовное право *входит* в сферу частного права как «правил справедливого поведения» (Науек 1982а: 132).

Разумеется, не все нормы права, относимые в тех или иных правопорядках к нормам уголовного права, будут рассматриваться Хайеком как право в смысле правил справедливого поведения. Как известно, произвол законодателя может привести к криминализации самых различных форм поведения, поэтому Хайек под «уголовным правом» подразумевает лишь классические уголовно-правовые запреты, карающие за посягательство на жизнь, здоровье или имущество свободного человека. Все, что не касается посягательств на частную сферу индивида, не рассматривается как «истинное право». Примечательно, что даже вполне современные исследования теории права Хайека, в которых адекватно отражена основная идея права как правил справедливого поведения, зачастую исключают уголовное право из сферы правопонимания Хайека². Если профессор И.Ю. Козлихин, по всей

¹ Говоря о правилах поведения, порождающих порядок свободного общества, Хайек отметил: «...это порядок, на который нацелены правила частного и *уголовного* права (курсив наш. – Р. Р.)» (Науек 1967е: 169).

² По итогам долгих рассуждений Дж. Тоучи приходит к выводу, что Хайек все же не отнес уголовное право к «праву» в собственном понимании этого слова, т.к. его концепция права опиралась на идею узко понимаемой частной собственности (Touchie 2005: 26).

видимости, исключил уголовное право из сферы хайековского «частного права» в силу романо-германской традиции юридического мышления, то австралийский исследователь Дж. Тоучи просто забыл, что концепция права Хайека привязана не к категории «частная собственность» (как он утверждает), а к категории «частная сфера» (Hayek 1978: 148), которая включает как вещи, так и тела. Так что даже если попытка изолированной понятийной экзегезы не приводит к исключению уголовного права из хайекианской концепции права-как-частного-права, то что уж говорить о характерных для континентальной юриспруденции установках мышления.

Помимо уголовного права, которое, как выяснилось, вполне охватывается цивилистическим правопониманием Хайека, есть и такие правовые институты, которые исключаются из данного правопонимания даже несмотря на очевидную связь с частноправовой юриспруденцией. И в первую очередь здесь необходимо обратить внимание на оговорку Хайека, связанную с императивными нормами о форме сделок.

Данные нормы не касаются содержания договоров, их соблюдение необходимо лишь для признания данных договоров судом в случае юридического конфликта. Такого рода императивные нормы, по словам Хайека, не относятся к праву, понимаемому как система правил справедливого поведения. Он пишет, что условное отождествление права и норм частного права «означает не то, что каждое из составляющих их правил *само по себе* является правилом справедливого поведения (курсив наш. – *P. P.*)» (Hayek 1982b: 34). Говоря о правилах, устанавливающих условия приобретения и передачи имущества, Хайек пишет, что «если при заключении сделки не соблюдены установленные законом формальности, то это еще не означает нарушения правил справедливого поведения» (Hayek 1982b: 35). Не только правила оформления договоров, но и, например, правила составления завещаний в наследственном праве также характеризуются им как правила очень значимые, но не являющиеся правилами справедливого поведения в собственном смысле этого слова (Hayek 1982b: 35). Так что при всей значимости данных правил для нормального протекания частно-правовых процессов, да и для свободного общества в целом, Хайек исключает императивные нормы о форме сделок из сферы «истинного права» как правил справедливого поведения.

Но не только эти частно-правовые институты вычеркиваются из «узкой» концепции хайекианского правопонимания. Например, есть основания полагать, что столь значимый раздел современного частно-правового регулирования как право интеллектуальной собственности также исключается Хайеком из сферы права как правил справедливости. В своих работах по философии права Хайек не уделяет ему достаточно внимания, однако из его более ранних текстов следует, что он не признает правовой природы за данным институтом. По его мнению, юридическое признание права интеллектуальной собственности есть результат «рабского (*slavish*) применения концепции собственности, разработанной для материальных вещей» (Hayek 1949: 114) к объектам, которые требуют иного юридического подхода. Некритическое применение к результатам интеллектуальной деятель-

ности тех норм, которые изначально были разработаны для регулирования «вещественного» гражданского оборота, скорее мешает, нежели способствует эволюции общества как спонтанного порядка. С точки зрения Хайека данный частноправовой институт порождает не столько права, сколько «вредные привилегии» (Hayek 1949: 114). И поскольку привилегии в его правопонимании являются антиподом права, мы никак не можем полноценно включить институт интеллектуальной собственности в сферу представлений Хайека об «истинном праве».

Таким образом, отождествление правопонимания Хайека с идеей «частного права» хоть и кажется на первый взгляд удовлетворительным, на деле же представляет собой слишком общую и неопределенную характеристику. Не только уголовное право охватывается хайековским «частным правом», но и многие институты частного права исключаются из сферы права как «правил справедливого поведения». Впрочем, описание правопонимания Хайека через идею «частного права» является не единственным примером упрощенных интерпретаций. Еще один распространенный подход заключается в разного рода попытках свести правопонимание Хайека к английской традиции *common law*. Думается, этот вопрос также требует некоторого внимания.

Право как «общее право». Наряду с отождествлением права и частного права в теории Хайека нередко можно увидеть и попытки отождествить хайековское понимание права с английской традицией *common law*. Как отмечает профессор И.Ю. Козлихин, «истинное право» по Хайку можно определить не только как частное право, но и более широко – как «английское общее право складывающееся через правовые обычаи и деятельность суда» (Козлихин 1992: 70). Если мы хотим наиболее полно описать правопонимание Хайека используя при этом как можно меньшее количество слов, то подход профессора можно признать одним из наиболее оптимальных. Стоит ли говорить, что такой взгляд распространен и в зарубежной литературе. В то же время, подобное отождествление может привести к не совсем адекватному восприятию философии права Хайека, ввиду чего необходимо обратить внимание на ряд моментов.

Во-первых, важно не сводить теорию Хайека к *common law* в строгом смысле этого слова. Хотя, даже если мы понимаем английское общее право предельно широко, включая туда не только *common law*, но и *equity law*, то все равно будем бить мимо цели. Несколько более корректным было бы соотнести право в философии Хайека не с конкретными исторически сложившимися правовыми системами, а с методологией судейского отыскания права как таковой и возникающим на основе этой методологии правом (*judge-made law*) (Hayek 1990a: 113). К такому типу права относится не только *common law*, но и многие иные правовые системы. В частности, Хайек высоко оценивал не только английское общее право, но и доюстиниановское римское право, созданное практикой юристов (Hayek 1982a: 83), а также правила *lex mercatoria*, сформированные в ходе разрешения конкретных коммерческих споров, возникающих между членами торговой корпорации (*law merchant*) (Hayek 1982a: 82). Даже правила, спонтанно возникшие

в практике торговых портов (Hayek 1982a: 82), характеризуются им как определенная историческая форма «истинного» права. Поэтому некритическое отождествление права и английского общего права в теории Хайека уже на этом уровне вызывает возражения.

Во-вторых, как это установлено в многочисленных сравнительно-правовых исследованиях, основной чертой английского общего права является ярко выраженный примат процессуального права над материальным правом. Сама процедура рассмотрения спора в суде зачастую играет чуть ли не более важную роль, чем материально-правовое содержание правоотношений. Однако, парадоксальным образом именно процессуальное право *исключается* Хайеком из сферы его специфического правопонимания. Он вполне однозначно пишет, что «процессуальное право и законы, устанавливающие порядок судопроизводства, в этом смысле являются правилами организации, а не правилами справедливого поведения» (Hayek 1982b: 125). Процессуальные нормы, регулирующие не вопросы разграничения частных сфер свободных индивидов, а саму процедуру отправления правосудия, не относятся им к «правилам справедливого поведения», т.е. к праву.

Тот факт, что процессуальное право относится к «правилам организации», делает данный вид норм «логически отличными» (Hayek 1982b: 125) от институтов права в собственном смысле этого слова. Стоит отметить, что здесь мы не находим развернутого объяснения того, в каком смысле нормы материального и процессуального права являются «логически» несовместимыми. Тут обнаруживается значительная неясность, и попытка Хайека как-то обособить процессуальное право от права как «правил справедливого поведения» иногда заходит в тупик. Однако, какие бы проблемы тут ни возникали, факт остается фактом: важнейшая составляющая английского *common law* эксплицитно исключается Хайеком из категории «истинное право».

Таким образом, мы не только лишены возможности отождествить правопонимание Хайека с некими «формальными» признаками права, спонтанным правопорядком или частным правом, но и встречаем значительные трудности при его идентификации с английской традицией *common law*. Складывается впечатление, что правопонимание Хайека более чем наполовину состоит из трудностей и исключений, которые не получают никакого ясного обоснования в традиционных либерально-демократических интерпретациях его теоретико-правового наследия. Именно поэтому мы вынуждены искать новый подход, который бы не только учитывал причастность Хайека к либеральной традиции, но и мог объяснить все особенности и нюансы его замысловатой концепции права.

От либеральной идеологии – к социальной теории. Выше мы попытались критически рассмотреть традиционный взгляд на теорию права Хайека как на одну из многих либерально-демократических концепций правопонимания. Согласимся с тем, что данный взгляд позволяет получить целостное представление как о теории права Хайека, так и о его социальной теории. В то же время, излишнее внимание к либеральной составляющей в философско-правовых работах Хайека не позволяет увидеть тех весьма

значимых аспектов его правопонимания, которые не могут получить удовлетворительного объяснения в рамках упрощенных либеральных трактовок. На наш взгляд, именно эти малозаметные аспекты теории права Хайека являются ключом к более фундаментальной и менее противоречивой интерпретации его правопонимания. Такая интерпретация не будет сводиться к оценке Хайека лишь как «кодификатора» классического либерализма и позволит оценить его *оригинальный* вклад в философию права XX в., состоящий не в описании формальных критериев господства права, но во множестве детальных наблюдений относительно сущности правил справедливого поведения.

Будучи взятыми по отдельности, эти детальные наблюдения и особые уточнения касательно права как правил справедливости, казалось бы, не играют значительной роли для раскрытия правопонимания Хайека. Но если мы примем во внимание все эти аспекты, а также системно истолкуем их в связи с основополагающими мотивам эпистемологии и социальной теории Хайека, то увидим наш предмет в совершенно новом свете. Станет очевидным, что для понимания теории права Хайека недостаточно просто связать ее с идеями свободы, рыночной экономики или господства права. Ведь крайне сложно спорить с тем, что важнейшим гарантом индивидуальной свободы и господства права являются процессуально-правовые стандарты судопроизводства. Равно как и императивные нормы о форме сделок играют очень важную роль в обеспечении нормальной работы рыночной экономики. Однако, ни процессуальные нормы, ни императивные правила о форме сделок *не входят* в хайекианское понятие права. Чтобы Хайек назвал какие-то нормы правом в «особом смысле слова», недостаточно, чтобы они просто способствовали свободе индивида, рыночным обменам или возникли спонтанно-эволюционным путем. Требуется что-то еще.

Но что же это? По всей видимости, ответ на данный вопрос предполагает дальнейшее исследование, требующее отдельной статьи. Однако некоторую предварительную гипотезу сформулировать можно уже здесь. Состоит она в том, что право как «правила справедливого поведения» в теории Хайека не просто служат формированию спонтанного порядка свободы и собственности, но выполняют некую более узкую функцию, которую не могут выполнять другие правила. Несомненно, и конституционное право, и процессуальное право являются очень важными институтами свободного общества. Они, как и «правила справедливого поведения», выполняют функцию поддержания этого общества. Но они делают это не так, как правила справедливого поведения, и именно поэтому Хайек исключает их из своего «понятия права» в узком смысле этого слова. Не только целевая направленность правил на «свободное общество» делает правила поведения «правом», но и тот особый *способ*, посредством которого *именно эти* правила участвуют в бытии спонтанного порядка. Согласно нашей гипотезе, суть данного способа становится ясной лишь тогда, когда мы принимаем в расчет не только теорию свободы Хайека, но и его теорию познания. Одним из ключевых эпистемологических различий в рамках данной теории является различие между «простыми» и «сложными» социальными

феноменами. Благодаря этому различению мы можем понять, чем «правила справедливого поведения» принципиально отличаются от всех остальных правил, необходимых для функционирования спонтанного порядка и свободного общества.

Суть данного различения сводится к следующему. Все явления в окружающей среде человека можно поделить на два типа: 1) «простые» феномены; 2) «сложные» феномены (Найек 1967а: 25). Простыми феноменами являются такие явления, которые состоят из относительно небольшого числа элементов (Найек 1967а: 27), и целостную сущность которых можно в достаточной степени понять индивидуальным человеческим разумом. Мерой достаточности понимания является способность индивида таким образом влиять на отдельные элементы этого явления, чтобы это позволяло добиться планируемых результатов в отношении простого феномена. Что касается сложных феноменов, то это суть явления, недоступные такого рода понимание, при котором разумное планирование в отношении этих феноменов является возможным. Отдельные элементы и внутренние связи такого феномена слишком сложны и необозримы для ограниченного человеческого разума. Все, что можно знать об этих феноменах, это общие принципы их функционирования (Найек 1967а: 28-29), но не более того.

Разумеется, «сложность» или «простота» феномена не является их онтологической характеристикой. Данные категории описывают не сами явления, но лишь эпистемическое отношение человека к тем или иным явлениям. В мире есть много как простых, так и сложных феноменов, и сами по себе они никак не связаны с проблемой справедливости и права. Но как только в число сложных или простых феноменов попадают не просто явления природы, но системы человеческой коммуникации, то это коренным образом меняет дело. Получается, что все системы человеческой коммуникации также можно разделить на две категории: «простые» системы и «сложные» системы. Простые системы человеческих взаимодействий Хайек называет «организациями» (Найек 1982а: 37), что касается сложных систем, то таковые именуется спонтанным порядком, или, что то же самое, «обществом расширенного сотрудничества» (Найек 1992: 6).

Что касается «организаций» (*Taxis*) как простых систем социальной коммуникации, тот тут все ясно. Есть некая структура, содержащая обозримое число элементов и выполняющая определенную эксплицитно заданную функцию. Например, суд или правительство. Поскольку структура таких организаций понятна, а цель – известна, то человеческое поведение в рамках этих структур может быть *рациональным* и *целенаправленным*. Более того, лишь в силу рациональных действий данные организации могут эффективно функционировать. Совсем другое дело – сложная система социальной коммуникации (*Kosmos*). Поскольку такая система является непознаваемой для человеческого разума, то в ней возможность рационального действия оказывается весьма ограниченной. Как можно совершить действие на благо структуры, ни элементы которой, ни цель которой не являются известными действующему? В то же время, как пишет Хайек, данные сложные системы существуют не сами по себе, но лишь благодаря действиям отдельных лю-

дей. Все это приводит его к мысли о некоем противоречии между сложностью «общества расширенного сотрудничества» и способностью индивида, не понимающего этой сложности, тем не менее как-то совершать именно такие действия, которые поддерживают эту структуру социальной коммуникации. Хайек считает, что данный эпистемический парадокс составляет главный вопрос социальной теории: каким образом возникает сложный социальный порядок, который есть результат человеческих действий, но при этом не основан на человеческом замысле? (Hayek 1990b: 73). Если простые социальные структуры требуют рационального действия, то действие индивида в сложных структурах требует иных, *мета-рациональных* оснований, не связанных с «человеческим замыслом». В этом-то и заключается *эпистемическая* специфика индивидуального действия в структурах сложного спонтанного порядка.

Представляется, что именно данная эпистемическая специфика как раз и отличает право как «правила справедливого поведения» от всех остальных социальных норм. Ни частное право, ни эволюционно возникшие институты *custom law*, ни какие-либо иные правила поведения, необходимые для поддержания свободного общества, сами по себе еще не являются «правом» с точки зрения Хайека. Если они направляют человеческое поведение как значимое в рамках того или иного «простого» феномена, то уже перестают быть правилами справедливости. Например, те же императивные нормы о форме сделок. Их смысл в том, чтобы сделать определенные взаимодействия «видимыми» для такой организации как суд. Чтобы суд как организация мог функционировать, требуются правила, позволяющие отделить подсудные конфликты от неподсудных. Сами по себе данные правила необходимы для поддержания свободного общества, и в этом смысле либеральная интерпретация теории права Хайека вполне может оказаться логичной. В то же время, эти правила служат определенной организационной цели, и поэтому *a priori* не являются правилами справедливости. Ведь организация, с эпистемологической точки зрения, является *простым* феноменом, относительно которого можно получить *полное* знание. А там, где достигается «полное знание», справедливость (а значит и право) становится невозможной по определению¹.

Только лишь те правила индивидуального поведения, которые не имеют определенной рациональной цели, и *мета-рациональным* образом направляют человеческое поведение в структурах *сложного* социального порядка свободного общества, могут считаться «правилами справедливого поведения». Все остальные правила поведения, даже если они жизненно необходимы для функционирования сложного спонтанного порядка свободного общества, не являются «правом» в строгом смысле правил справедливости. Они служат свободному обществу не *мета-рациональным* образом, направляя поведение человека в непознаваемых для него структурах, но опосредованно, через рациональное поведение человека в тех

¹ «Необходимо отметить, что в обществе всезнающих людей не было бы места ни для одной концепции справедливости» (Hayek 1982b: 39).

организациях, которые так же, как и отдельные действия, важны для спонтанного порядка. Лишь мета-рациональные правила индивидуального поведения, которые позволяют индивиду преодолеть пропасть между ограниченностью собственного знания и неограниченной сложностью социального порядка «расширенного сотрудничества», оказываются в теории Хайека особыми правилами поведения, именуемыми «правом» в узком смысле данного слова. Лишь эта эпистемическая особенность делает их правилами справедливости. В конце концов, как писал Хайек, «сама возможность справедливости покоится на неизбежной ограниченности знания конкретных фактов»¹. И поскольку применительно к «организациям» мы можем установить все необходимые конкретные факты, то правила, связанные с функционированием даже самых что ни на есть юридических организаций (вроде суда), не рассматриваются Хайеком как правила справедливого поведения.

Однако, каким образом правила справедливости позволяют преодолеть эту «ограниченность знания конкретных фактов»? Почему именно институты «сложного» социального порядка заслуживают высокого звания истинного права? Ответы на данные вопросы требуют отдельного исследования, которое только и можно будет признать полноценным анализом теории права Хайека. Если в его работах и есть оригинальная теоретико-правовая составляющая, то коренится она не в рассуждениях о свободе и рынке, но в тех эпистемических свойствах правил справедливости, которые составляют их уникальную функцию.

Заключение. В данном исследовании мы попытались критически оценить доминирующие в современной науке представления о сущности правопонимания Фридриха Хайека. Взяв за основу статью профессора И.Ю. Козлихина, которую вполне можно признать классическим примером либерально-демократической интерпретации хайековской теории права, мы постарались выявить те аспекты концепции права Хайека, которые не укладываются в рамки стандартных либеральных подходов. По итогу критического рассмотрения данной статьи мы можем однозначно утверждать, что представленный в ней взгляд, наряду со многими другими зарубежными исследованиями, требует некоторых уточнений и исправлений. Ключевой проблемой этих исследований является излишняя концентрация на «либеральности» Хайека и тех идеях, которые традиционно ассоциируются с доктринами господства права и демократии. Разного рода попытки охарактеризовать правопонимание Хайека через идеи либерального правопорядка, частного права или английского *common law*, будучи безусловно корректными, тем не менее не позволяют раскрыть оригинальный вклад Хайека в современную философию права. Дабы увидеть этот оригинальный потенциал, мы попытались абстрагироваться от либеральных стерео-

¹ «Сама возможность справедливости покоится на неизбежной ограниченности знания конкретных фактов (*factual knowledge*), и данное понимание природы справедливости, следовательно, недоступно для всех тех конструктивистов, которые по привычке строят свои аргументы исходя из допущения о полноте знания (*omniscience*)» (Hayek 1982a: 13).

типов и сосредоточиться на тех особенностях философии Хайека, которые зачастую остаются без внимания. Комплексная интерпретация всех этих «тонкостей» позволяет утверждать, что в основе его правопонимания лежит не ценностный критерий свободы или рыночной экономики, но сугубо функциональный критерий, связанный с концепцией сложного общества «расширенного сотрудничества». Ядром этой концепции является определенный эпистемологический конфликт между непознаваемостью «расширенного» социального порядка и необходимостью осмысленного индивидуального действия, согласующегося с этим социальным порядком. Тот факт, что степень сложности данного социального порядка намного превосходит калькуляционные возможности индивидуального разума, серьезно ограничивает человека в его способности совершать целенаправленные и рациональные действия в пространстве сложной социальной структуры. Преодолеть эту ограниченность человек может лишь при наличии метарациональных оснований индивидуального действия, позволяющих адаптировать его поведение к рационально непознаваемым обстоятельствам сложного общества «расширенного сотрудничества». С точки зрения Хайека, право как система правил справедливости как раз и является таким метарациональным основанием индивидуального действия, что, в свою очередь, составляет его главное функционально-эпистемическое отличие как от рациональных правил организации, так и от любых других социальных институтов. Данная функция есть критерий, позволяющий с большей точностью отличить право от не-права в теории Хайека, нежели традиционные «либеральные» подходы. Только такого рода функциональная (а не ценностно-идеологическая) интерпретация его правопонимания может объяснить все те оговорки и уточнения касательно сущности права, которые Хайек приводит в своих работах. Именно поэтому нам кажется, что дальнейшее осмысление и переосмысление правопонимания Хайека требует несколько абстрагироваться от его связей с либеральной идеологией и с большим вниманием отнестись к его социально-эпистемологической теории.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Козлихин И.Ю. 1992. Правопонимание Ф.А. Хайека // Правоведение. № 5. С. 67-75.
- Козлихин И.Ю. 2012. Избранные произведения. Санкт-Петербург : Юрид. центр-Пресс. 583 с.
- Кубедду Р. 2008. Политическая философия австрийской школы. Москва : Мысль. 406 с.
- Петтит Ф. 2016. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. Москва : Изд-во Ин-та Гайдара. 488 с.
- Angner E. 2007. Hayek and Natural Law. New York : Routledge. 140 p.
- Barry N. 1982. Hayek's Social and Economic Philosophy. London : The MacMillan Press. 228 p.
- Covell Ch. 1992. The Defence of Natural Law. A Study of the Ideas of Law and Justice in the Writings of Lon L. Fuller, Michael Oakeshott, F.A. Hayek, Ronald Dworkin and John Finnis. London : The MacMillan Press. 279 p.

- Filippov A., Fatkhatdinov N. 2017. Sociology and the Problem of Order // Russian Sociological Review. Vol. 16, № 4. P. 7-13.
- Grey J. 1998. Hayek on Liberty. London : Routledge. 186 p.
- Goldsworthy J.D. 1986. Hayek's Political and Legal Philosophy: An Introduction // Sydney Law Review. Vol. 11. P. 44-63.
- Hamowy R. 1961. Hayek's Concept of Freedom: A Critique // New Individualist Review. № 1. P. 28-31.
- Hamowy R. 1978. Law and The Liberal Society: F.A. Hayek's Constitution of Liberty // Journal of Libertarian Studies. Vol. 2, № 4. P. 287-297.
- Hayek F.A. 1949. Individualism and economic order. London : Routledge. 272 p.
- Hayek F.A. 1952. The Sensory Order. An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology. Chicago : Univ. of Chicago Press. 209 p.
- Hayek F.A. 1967a. A Theory of the Complex Phenomena // F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago : Univ. of Chicago Press. P. 22-42.
- Hayek F.A. 1967b. Notes on the Evolution of Systems of Rules of Conduct // F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago : Univ. of Chicago Press. P. 66-81.
- Hayek F.A. 1967c. Rules, Perception and Intelligibility // F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago : Univ. of Chicago Press. P. 43-65.
- Hayek F.A. 1967d. The Dilemma of Specialisation // F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago : Univ. of Chicago Press. P. 122-132.
- Hayek F.A. 1967e. The Principles of a Liberal Social Order // F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago : Univ. of Chicago Press. P. 160-177.
- Hayek F.A. 1978. The Constitution of Liberty. Chicago : Univ. of Chicago Press. 568 p.
- Hayek F.A. 1982a. Law, Legislation and Liberty. Vol. 1. Rules and Order. London : Routledge. 145 p.
- Hayek F.A. 1982b. Law, Legislation and Liberty. Vol. 2. The Mirage of Social Justice. London : Routledge. 153 p.
- Hayek F.A. 1990a. Economic Freedom and Representative Government // F.A. Hayek. New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas. London : Routledge. P. 105-119.
- Hayek F.A. 1990b. The Confusion of Language in Political Thought // F.A. Hayek. New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas. London : Routledge. P. 71-98.
- Hayek F.A. 1990c. The Errors of Constructivism // F.A. Hayek. New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas. London : Routledge. P. 3-23.
- Hayek F.A. 1990d. The Primacy of the Abstract // F.A. Hayek. New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas. London : Routledge. P. 35-50.
- Hayek F.A. 1992. The Fatal Conceit: The Errors of Socialism. London : Routledge. 180 p.
- Miller E. 2010. F.A. Hayek's «The Constitution of Liberty». London : The Institute of Economic Affairs. 187 p.
- Notturmo M. 2015. Hayek and Popper. On rationality, economism, and democracy. New York : Routledge. 172 p.
- Posner R. 2003. Hayek's Theory of Adjudication // R. Posner. Law, Pragmatism, and Democracy. Harvard : Harvard Univ. Press. P. 274-288.
- Postema G. 2011. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 11. Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World. New York : Springer. 618 p.

Rothbard M. 1998. F.A. Hayek and The Concept of Coercion // M. Rothbard. The Ethics of Liberty. New York : New York Univ. Press. P. 219-231.

Shearmur J. 1996. Hayek and the After. Hayekian liberalism as a research programme. London : Routledge. 257 p.

Shearmur J. 2007. Hayek's politics // The Cambridge Companion to Hayek / Ed. by E. Feser. Cambridge : Cambridge Univ. Press. P. 148-170.

Touchie J. 2005. Hayek and Human Rights. Foundations for a Minimalist Approach to Law. Northampton : Edward Elgar. 267 p.

Ruslan S. Raab, Higher School of Economics, Russia.

E-mail: rraab@hse.ru

Article received 17.08.2020, accepted 19.10.2020, available online 11.01.2020

Friedrich August von Hayek's Conception of Law: Between Liberal Ideology and Social Theory

Abstract. The article is devoted to the re-problematisation of F.A. Hayek's legacy in philosophy of law and social theory. Taking as an example the works of SPSU professor I.Y. Kozlikhin, and some other works about Hayek's theory of law, the author demonstrates several inadequacies of the current literature on Hayek's legal philosophy. In criticizing these highly debatable approaches, the author describes multiple but rarely considered nuances of Hayek's conception of law, which seem to be necessary for adequate understanding of his works. In the author's view, only these details allow to cast some doubt on stereotypes about Hayek as a sort of "liberal ideologist" and unfold the true original potential of his philosophy. The main hypothesis of the article is that the key to this original potential lies not in Hayek's theory of freedom and market, but in his fundamental epistemological views. The ideal of freedom is not enough to discriminate between what is "just law" and what is not in hayekian theory. Only by the means of Hayek's epistemology we can separate law as "rules of just conduct" from other types of social institutions in his theory. This separation is based on broader epistemological separation of "simple" and "complex" phenomena in Hayek's theory of knowledge, which is reflected in his distinction between "organization" (*Taxis*) and "spontaneous order" (*Kosmos*). Since only the last of them represents a «complex phenomenon», it means that only a system of special meta-rational rules of conduct can provide an epistemically restricted social actor with an ability to act effectively in such a complex and rationally unknowable social structure. It is argued that only this "technical" capacity of meta-rational just law can be seen as the true basis of Hayek's theory of law. Neither hayekian theory of freedom, nor his theory of market can shed light on the Hayek's most important and original contribution in the domain of legal theory. It is Hayek's epistemology that can be seen as the ultimate foundation of his conception of lawn.

Keywords: Friedrich August von Hayek; theory of law; law and institutional values; law and social order; epistemology.

For citation: Raab R.S. *Pravoponimanie Fridrikha Avgusta fon Khayeka: mezhdou liberal'noy ideologiyey i sotsial'noy teoriey* [Friedrich August von Hayek's Conception of Law: Between Liberal Ideology and Social Theory], *Antinomii=Antinomies*, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 101–123. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10406 (in Russ.).

References

- Angner E. *Hayek and Natural Law*, New York, Routledge, 2007, 140 p.
- Barry N. *Hayek's Social and Economic Philosophy*, London, The MacMillan Press, 1982, 228 p.
- Covell Ch. *The Defence of Natural Law. A Study of the Ideas of Law and Justice in the Writings of Lon L. Fuller, Michael Oakeshott, F.A. Hayek, Ronald Dworkin and John Finnis*, London, The MacMillan Press, 1992, 279 p.
- Filippov A., Fatkhatdinov N. Sociology and the Problem of Order, *Russian Sociological Review*, vol. 16, no. 4, 2017, pp. 7-13.
- Goldsworthy J.D. Hayek's Political and Legal Philosophy: An Introduction, *Sydney Law Review*, 1986, vol. 11, pp. 44-63.
- Grey J. *Hayek on Liberty*, London, Routledge, 1998, 186 p.
- Hamowy R. Hayek's Concept of Freedom: A Critique, *New Individualist Review*, 1961, no. 1, pp. 28-31.
- Hamowy R. Law and The Liberal Society: F.A. Hayek's Constitution of Liberty, *Journal of Libertarian Studies*, 1978, vol. 2, no. 4, pp. 287-297.
- Hayek F.A. A Theory of the Complex Phenomena, *F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1967, pp. 22-42.
- Hayek F.A. Economic Freedom and Representative Government, *F.A. Hayek. New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas*, London, Routledge, 1990, pp. 105-119.
- Hayek F.A. *Individualism and economic order*, London, Routledge, 1949, 272 p.
- Hayek F.A. *Law, Legislation and Liberty. Vol. 1. Rules and Order*, London, Routledge, 1982, 145 p.
- Hayek F.A. *Law, Legislation and Liberty. Vol. 2. The Mirage of Social Justice*, London, Routledge, 1982, 153 p.
- Hayek F.A. Notes on the Evolution of Systems of Rules of Conduct, *F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1967, pp. 66-81.
- Hayek F.A. Rules, Perception and Intelligibility, *F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1967, pp. 43-65.
- Hayek F.A. The Confusion of Language in Political Thought, *F.A. Hayek. New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas*, London, Routledge, 1990, pp. 71-98.
- Hayek F.A. *The Constitution of Liberty*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1978, 568 p.
- Hayek F.A. The Dilemma of Specialisation, *F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1967, pp. 122-132.
- Hayek F.A. The Errors of Constructivism, *F.A. Hayek. New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas*, London, Routledge, 1990, pp. 3-23.
- Hayek F.A. *The Fatal Conceit: The Errors of Socialism*, London, Routledge, 1992, 180 p.
- Hayek F.A. The Primacy of the Abstract, *F.A. Hayek. New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas*, London, Routledge, 1990, pp. 35-50.
- Hayek F.A. The Principles of a Liberal Social Order, *F.A. Hayek. Studies in Philosophy, Politics, and Economics*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1967, pp. 160-177.
- Hayek F.A. *The Sensory Order. An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1952, 209 p.
- Kozlikhin I.Yu. *Izbrannyye proizvedeniya* [Selected Works], St.-Petersburg, Yuridicheskiy tsentr-Press, 2012, 583 p. (in Russ.).

Kozlikhin I.Yu. *Pravoponimanie F.A. Khayeka* [F.A. Hayek's conception of law], *Pravovedenie*, 1992, no. 5, pp. 67-75. (in Russ.).

Kubeddu R. *Politicheskaya filosofiya avstriyskoy shkoly* [The political philosophy of the Austrian School], Moscow, Mysl', 2008, 406 p. (in Russ.).

Miller E. *F.A. Hayek's "The Constitution of Liberty"*, London, The Institute of Economic Affairs, 2010, 187 p.

Notturmo M. *Hayek and Popper. On rationality, economism, and democracy*, New York, Routledge, 2015, 172 p.

Pettit F. *Respublikanizm. Teoriya svobody i gosudarstvennogo pravleniya* [Republicanism. A Theory of Freedom and Government], Moscow, Izdatel'stvo Instituta Gaydara, 2016, 488 p. (in Russ.).

Posner R. Hayek's Theory of Adjudication, *R. Posner. Law, Pragmatism, and Democracy*, Harvard, Harvard Univ. Press, 2003, pp. 274-288.

Postema G. *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 11. Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World*, New York, Springer, 2011, 618 p.

Rothbard M. F.A. Hayek and The Concept of Coercion, *M. Rothbard. The Ethics of Liberty*, New York, New York Univ. Press, 1998, pp. 219-231.

Shearmur J. *Hayek and the After. Hayekian liberalism as a research programme*, London, Routledge, 1996, 257 p.

Shearmur J. Hayek's politics, *E. Feser (ed.), The Cambridge Companion to Hayek*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2007, pp. 148-170.

Touchie J. *Hayek and Human Rights. Foundations for a Minimalist Approach to Law*, Northampton, Edward Elgar, 2005, 267 p.



Таршева М.Н., Толкунова Н.Н. Становление института медиации в России и за рубежом. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10407 // Антиномии. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 124–142.

УДК 316.77:343.137

DOI 10.24411/2686-7206-2020-10407

Становление института медиации в России и за рубежом

Мира Николаевна Таршева

адъюнкт Орловского юридического института МВД России

им. В.В. Лукьянова, г. Орел, Россия.

E-mail: tarsevamirabella@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3860-2299

SPIN-код: 9039-9394

Наталья Николаевна Толкунова

доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры таможенного дела

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева,
г. Орел, Россия.

E-mail: tolkunova2@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-2353-2099

SPIN-код: 1718-9822

*Статья поступила 08.06.2020, принята к печати 15.10.2020,
доступна online 11.01.2021*

Решение юридических конфликтов при участии посредника является ресурсным механизмом для сохранения времени, денежных средств и сил спорящих сторон, действующим в направлении достижения консенсуса. Примирительные практики при участии третьей, непредвзятой, стороны известны с давних времен во многих странах. Настоящая статья посвящена ретроспективному анализу процесса развития восстановительного правосудия и формирования института медиации. Рассмотрены философские предпосылки посредничества в античный и средневековый периоды и в Новое время. Авторы акцентируют внимание на историко-правовом развитии медиативных практик в России и в зарубежных странах. Более подробно медиация рассматривается как альтернативный традиционному (карательному) способ реагирования на преступление, заключающийся в разрешении уголовно-правового конфликта между сторонами при посредничестве независимого участника – медиатора. Выделяются три модели медиации в зависимости от стадии процесса ее применения: до возбуждения уголовного дела, после возбуждения уголовного дела, а также пенитенциарная модель медиации. Ретроспективный анализ процесса



© Таршева М.Н., Толкунова Н.Н., 2020

становления института медиации в российском и зарубежном праве позволяет констатировать, что истоки примирительных практик с участием посредника прослеживаются уже в античный период. На раннем этапе развития восстановительное правосудие нашло свое отражение в идеях майевтики; в период Средневековья медиативные практики, как правило, не применялись. Период Нового времени был более плодотворным и «реанимировал» восстановительное правосудие, найдя свое отражение в гуманистических идеях писателей и философов. На современном этапе развития медиация рассматривается как альтернативная традиционной процедура разрешения спора. Методологической основой работы являются общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, диалектико-материалистический и системный методы и др.), а также специальные юридические методы (сравнительно-правовой, юридико-догматический и др.).

Ключевые слова: медиация, восстановительное правосудие, посредничество, примирительные практики, уголовное судопроизводство, альтернативный способ разрешения уголовно-правового конфликта.

Введение. Обострение юридических конфликтов оборачивается потерей времени, средств и сил и редко приводит к эффективному для спорящих сторон результату. Некоторые авторы, придерживаясь концепции восстановительного правосудия, рассматривают медиацию как действенный инструмент при разрешении уголовных споров (Софийчук, Валеев 2014).

Для понимания важности медиации представляется необходимым проанализировать философские и историко-правовые основания становления данного института в России и в зарубежных странах. Совершенствование судебной системы и процессуального права все чаще ставит законодателей и юридическое сообщество перед необходимостью поиска и имплементации альтернативных форм прекращения юридического спора, позволяющих решить большинство конфликтов на этапе переговоров без судебного разбирательства.

Кроме того, одной из особенностей совершенствования отечественного уголовно-процессуального законодательства в настоящее время является поиск наиболее действенных механизмов, которые могли бы обеспечить решение следующих задач: 1) восстановление соответствующего порядка функционирования общественных отношений, нарушенных в результате совершенного преступления; 2) реализация возмещения причиненного преступлением ущерба потерпевшей стороне; 3) обеспечение должной превенции и ресоциализации лица, совершившего преступление.

Гуманизация, либерализация и демократизация уголовного правосудия как общемировая тенденция развития законодательства в сфере уголовной юстиции, а также подтвержденный криминологическими исследованиями факт несостоятельности карательных мер в борьбе с рецидивной преступностью обуславливают необходимость и целесообразность поиска и имплементации альтернативных механизмов разрешения споров в правовые системы.

Философские аспекты медиации. С древних времен для разрешения споров обществу была знакома процедура медиации. Медиация как социальное явление в онтологическом и гносеологическом понимании

представляет более сложную схему, чем простое примирение с участием посредника (Юнгус 2018: 292).

Как отмечает Г.А. Юнгус, в философском дискурсе предшествующих эпох термин «посредничество» эксплицитно не представлен. Онтологической основой данного понятия является история и теория государства и права. В то же время повседневный дискурс характеризуется культурно-историческими традициями посредничества при примирении сторон. Кризисные ситуации, деструктивно влияющие на общество, изменили повседневное бытие, усложнив ритуал примирения, что сделало феномен посредничества объектом философского познания (Юнгус 2018: 292).

Анализируя философские аспекты становления института медиации, мы будем рассматривать особенности данного процесса в античный, средневековый периоды и в Новое время, кратко освещая основные идеи мыслителей в области примирения сторон.

Античность. Идея восстановления солидарности в процессе примирения сторон привлекала внимание мыслителей еще во времена Античности. Проблема солидарности в решении конфликтной ситуации при участии посредников рассматривается в трудах философов Древней Греции; успешность процесса примирения они тесным образом связывают с личностью посредника.

Понимание объективной стороны противоречий в споре и осознание общности интересов лежит в основе сократического метода ведения спора – майевтики. Майевтика представляет собой ведение диспута как поиска истины посредством логически выстроенной последовательности вопросов, демонстрирующих критическое отношение к догматическим утверждениям. Особую ценность философского наследия Сократа составляют нравственная философия, учение о добродетелях и учение об обязанностях. Майевтический метод ведения спора предполагает, по нашему мнению, не только диалог, но и полилог, где третьей стороной может выступать посредник, помогающий вести общение спорящих лиц по верному пути.

Для Платона главный метод познания – диалектика, которую он определяет как познание сущности самих вещей. Представляется, что ведение спора при участии посредника ставит перед последним задачу восстанавливать чувство справедливости и солидарности дискутирующих сторон, что основано также на ценностях социальных связей (Юнгус 2018: 293) и доверии.

Следует обратить внимание на важные для ведения переговоров логические законы, предложенные Аристотелем: закон тождества, закон противоречия, или закон исключенного третьего. Согласно первому закону при употреблении понятия должно использовать одно и то же его значение. Согласно второму – среди двух противоречивых понятий одно является не истинным. Введя термин «этика», Аристотель определил этические добродетели. Так, в отношении посредника к ним можно отнести стремление к миру в споре, безупречные душевные качества.

Античный период характеризуется поиском методов, этических принципов и выработкой законов ведения диалога (Юнгус 2018: 293).

Средневековье. В трудах схоластиков и Отцов Церкви послеапостольского периода также уделяется внимание роли и месту философа в социуме. Для Средневековья свойственна идея человеческой слабости, которая рассматриваются как исконное, природное несовершенство человека.

Согласно учению Аврелия Августина предопределение ограничивает человеческое бытие и общественные взаимоотношения. По мнению философа, люди могут совершать злые деяния в любых ситуациях, так как это предустановлено с момента грехопадения. Жизнь человека по своему содержанию являет собой конкретный осмысленный процесс. (В монографии князя Е. Трубецкого концепция Аврелия Августина интерпретируется как политико-правовая теория, а средневековые теологи трактуются как юристы. Взаимосвязь теологического и юридического компонентов в учении Аврелия Августина признается также профессором В.С. Нерсисянцем (Федотенков 1999: 26).) Рассматривая человека как существо, несущее личную ответственность за деяния, Августин, кажется, стремился эмансипировать человека, дав ему право на независимые поступки, но в то же самое время имплицитно оценивая их как зло, если такие поступки не соответствуют Божественному слову.

Идея слабости человеческой природы представлена также в трудах Н. Макиавелли, который отмечает при этом необходимость выстраивания доброжелательных отношений с советниками. Эта позиция, безусловно, сужает возможности посредника при разрешении спора. Макиавелли утверждает, что человек постоянно находится в злобном состоянии, но это лишь до момента, когда ему самому необходимо проявить доброту (Юнгус 2018: 293).

Установление государственных законов в начале Средневековья способствовало переоценке конфликта как такового: из разряда частного он переходит на уровень общественного. Концепция авторитарного наказания вытеснила концепцию возмещения вреда.

Средневековый этап характеризуется строгостью в оценке проступков человека, которые заведомо рассматриваются как маркер человеческого несовершенства. Данная установка редко позволяла посреднику выйти за рамки общественных представлений о необходимости применения наказаний и находить возможности решения спорной ситуации без суда.

Новое время. Рассуждая о проблемах в области государственно-правовых взаимоотношений, Т. Гоббс утверждал, что власть должна предугадывать поведение людей как сама, так и через посредников. Например, нивелированию напряженности конфликтной ситуации способствует открытый диалог, который дает возможность влиять на действия спорящих лиц, фокусируя внимание на мирном решении вопроса. По мнению ученого, участие государства как посредника в разрешении конфликта людей позволяет, не растягивая конфликтную ситуацию, привести спорящих к мирному соглашению (Юнгус 2018: 294). В основе такой практики должна лежать правовая грамотность.

Идея примирения как пути решения конфликтов находит свое отражение в философии Ф.М. Достоевского (Медведева 2000), Л.Н. Толстого, М.М. Бахтина и др.

Диалогическая философия М.М. Бахтина основана на принципе видения и предполагает гуманистическое мышление. Понимаемый широко – как внутренний диалог и как диалог культур – диалогизм подразумевает не только процесс коммуникации, но и природу самой человеческой жизни (Воропай 2001). Так, философия диалога ориентирована на процесс выстраивания коммуникации при активном слушании и внимательном отношении друг к другу, что, на наш взгляд, и является базовым принципом работы медиатора.

Понятия свободы выбора, посредничества и мирного сосуществования рассматриваются в трудах К. Поппера, Э. Дюркгейма, Ю. Хабермаса и др.

Согласно воззрениям К. Поппера, борьба со стереотипами возможна в процессе ведения открытого диалога путем применения рациональных доводов и аргументации, которые предполагают присутствие трансцендентального наблюдателя – медиатора, профессионально владеющего технологиями ведения открытого диалога. Как отмечает Г.А. Юнгус, «медиатор самотрансцендентен в роли критика и самокритика, и в этом качестве он самоорганизован, причем самоорганизован, так сказать, на рациональной основе» (Юнгус 2020: 7).

В Новое время философские поиски основ примирения базируются на правовой грамотности, законности, солидарности и этических нормах ведения восстановительного правосудия.

Историко-правовые аспекты медиации за рубежом. Восстановительные практики урегулирования конфликтов, в том числе уголовных, с древнейших времен до наших дней в разных обществах имеют своим основанием религиозно-традиционные представления о нормализации нарушенных в обществе правоотношений.

Так, в бедных индейских общинах Боливии, для которых официальное правосудие недоступно, по сей день сохранились традиции общинного правосудия по уголовным делам. В отправлении правосудия принимают участие все члены общины (Руденко 2011: 98). В индейских общинах Гватемалы суды обычного права действуют на основе принципов гармонии, согласия, примирения. При этом разрешение дел, при непосредственном участии сторон, является прерогативой наиболее опытных лидеров общины. Компенсации потерпевшей стороне, а также наказания виновных айвовами или персиковыми розгами применяются в качестве санкций (Руденко 2011: 151).

Медиация и в далеком прошлом являлась частью процесса по урегулированию конфликтов, связанных с преступлением. Например, Кодекс Хаммурапи (около 1750 г. до н.э.) предусматривал правила реституции – оплаты потерпевшему от преступлений со стороны правонарушителя. В Библии также обсуждаются вопросы реституции. Салическая правда (507–510 гг.) предусматривает наказания, представляющие собой возмещение ущерба жертве со стороны лица, совершившего преступление, а также реституцию за убийства (Кури, Ильченко 2015: 121). Широкое применение мер возмещения и их подробное описание можно обнаружить в законах хеттов (около 1300 г. до н.э.). Возмещение ущерба, будучи неотъемлемой частью наказа-

ния с древнейших времен (особенно в законах античного периода, в исламской системе наказания и в правовых обычаях многих племен), «имеет долгую и, очевидно, успешную историю» (Кури 2015: 175).

В своем исследовании П.И. Костогрызов указывает, что осуществление правосудия органами государственной власти – явление исторически недавнее. «Государства до эпохи Модерна не претендовали на такую монополию, наряду с государственными повсеместно функционировали иные судебные институты», выступающие в качестве органов общинного правосудия. Как отмечает ученый, возникший в последние десятилетия интерес к возможностям общинного правосудия обусловлен необходимостью поиска наиболее эффективных механизмов и методов в решении проблем, связанных с высокой степенью загруженности органов правосудия и неэффективностью карательных способов реагирования на преступления (Костогрызов 2018: 45).

Медиация не была изобретением европейцев, она органически выросла из системы мировоззрения и взаимоотношений внутри традиционных коллективов. Столкнувшись с примирительными процедурами в ходе колонизации, европейцы переосмыслили и имплементировали их в свои правовые системы. А для этого уже были предпосылки, в частности в виде описанных выше философских представлений о посредничестве.

Современный этап разработки и становления института медиации берет свое начало в середине 1970-х годов, когда Канада и США начали использовать альтернативные методы разрешения конфликтных ситуаций, опираясь на результаты исследований европейских ученых. Формирование принятой сегодня процедуры примирения с привлечением посредника в европейских странах относится к 80-м годам прошлого века.

Интерес к примирению в странах Западной Европы в 80-е гг. XX в. возрос с учетом кризисных явлений судебной системы, в результате чего были созданы специализированные организации, оказывающие содействие в урегулировании спора, такие как Группа альтернативного разрешения споров (ADR-Group) и лондонский Центр по разрешению споров (Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)).

Приверженцы концепции восстановительного правосудия предлагают новый подход (альтернативный традиционно-карательному подходу уголовной юстиции) в реагировании на преступление, а также понимании самого преступления.

Зер Ховард, являющийся идейным вдохновителем концепции восстановительного правосудия, видит суть преступления в «насилии над личностью, надругательстве над сущностью, над тем, во что верит человек, посягательстве на частное пространство»; кроме того, «преступление разрушает чувство автономии: посторонний присвоил себе право распоряжаться нашей жизнью, собственностью, личным пространством». Далее он приходит к выводу о необходимости в процессе разрешения уголовно-правовых конфликтов фокусировать основное внимание на потребностях жертв преступлений, которые должны занимать центральное место в судебном процессе, а не играть в нем роль свидетелей. Кроме того, «пострадавшие нуждаются

в выражении и признании своих чувств: гнева, страха, боли», которые невозможно выразить в рамках традиционного процесса (Зер 2002: 14-15).

Главная идея данного подхода заключается в необходимости примирения сторон уголовно-правового конфликта, посредством которого достигаются: 1) восстановление соответствующего порядка функционирования общественных отношений; 2) реабилитация прав и удовлетворение интересов, в том числе психоэмоционального характера, потерпевших от преступного деяния; 3) ресоциализация лица, совершившего преступление, и осознание вины и ответственности за причиненный вред со стороны данного лица; 4) превентивные цели. При этом для достижения указанных целей предлагаются различные механизмы и процедуры разрешения уголовно-правовых споров: медиация, семейные конференции, круги правосудия и др.

На рубеже 1970–80-х годов появляются первые профессионалы-практики, оказывающие реальную помощь в разрешении конфликтов и эффективно их решающие. Организация Объединенных Наций объявила 1986 г. Годом мира. Это явилось стимулом к созданию в Австралии Международного центра разрешения конфликтов, который ориентирует свою деятельность на практическое улаживание конфликтов, а также на обучение правилам ведения медиации. Аналоги данного центра начали создаваться по всему миру. Первый российский Центр разрешения конфликтов был открыт в 1993 г. в Санкт-Петербурге.

Изучению восстановительного правосудия в США и других странах англосаксонского права посвящены труды А.С. Василенко (Василенко 2013: 32), которая отмечает, что невысокий уровень интереса к медиации в США обусловлен широким применением других процедур восстановительного правосудия. Это обстоятельство исследователь связывает с отсутствием закрепленной на законодательном уровне программы восстановительного правосудия. А.С. Василенко обращает внимание на такие американские практики восстановительного правосудия, как 1) медиация жертвы и преступника (Victim-Offender Mediation program), предполагающая работу посредника в суде и являющаяся альтернативой судебному преследованию; 2) семейные конференции (Family Group Conferencing) – зародившаяся в Новой Зеландии программа, которая применяется при участии в деле несовершеннолетних и распространилась в модифицированном виде в Англии, США и Канаде; 3) общественный совет восстановительного правосудия (Community Reparative Boards) и 4) круги правосудия (Sentencing Circle) – программы, в которых посредниками выступают прошедшие интенсивное обучение добровольцы из местного населения.

Впервые программа примирения жертвы и преступника была применена в Канаде в 1974 г. Судья по делу о факте вандализма принял решение о возмещении лицами, совершившими противоправное деяние, ущерба потерпевшим и принесении извинений по предложению офицера службы probation и представителя местной общины (Арутюнян 2013: 126).

Посредничество было введено как экспериментальный проект в Норвегии в 1981 г., через два года Финляндия также применила медиацию.

Но лишь в 1990-х гг. многие страны Европы утвердили примирительный процесс на законодательном уровне.

С 1984–1985 гг. начались пробные процессы с медиацией между жертвами и преступниками в Германии, а в 1988 г. медиация была включена в рекомендации Государственной комиссии (Bund/Länder-Adhoc-Kommission). В 1999 г. правительство Германии приняло «Закон о разрешении конфликтов без суда», согласно которому судьи и прокуроры должны обеспечить возможность разрешить конфликт с помощью медиации на всех стадиях уголовного процесса, а реституция преступника жертве официально стала частью процедуры наказания.

С 1985 г. в Австрии начали действовать экспериментальные проекты восстановительного правосудия по уголовным делам некоторых категорий. Изначально практика несудебного урегулирования уголовно-правовых споров применялась к несовершеннолетним преступникам. В дальнейшем, после получения хороших результатов, практику распространили и на преступников из числа взрослых лиц. Впоследствии уголовно-процессуальное законодательство Австрии отказалось от уголовного преследования лиц, совершивших преступления, принимающих участие в восстановительных процедурах при установлении судом периода условного освобождения от уголовной ответственности (от 1 до 2 лет) (Руденко 2011: 64).

Франция и Бельгия, имеющие уголовно-процессуальные системы, близкие российской юридической технике, пошли по долгому пути становления института медиации, которая в этих странах «выросла» из практической деятельности. Медиация была принята посредством внесения изменений и дополнений в УПК во Франции – законами 1993 г., в Бельгии – 1994 г. Суть ее заключается в том, что прокурор на стадии возбуждения уголовного дела инициирует процедуру примирения и по результатам принимает решение о принятии уголовного дела к производству. Саму же процедуру разрешения спора во Франции возлагают на представителя медиаторной фирмы, не имеющей отношения к уголовной системе, а вот бельгийский законодатель обязал непосредственно прокурора быть медиатором (Русман 2012: 67).

Посредничество в примирении может осуществляться как самим должностным лицом, ведущим производство по делу (эта модель существует в ряде государств, например в Бельгии), так и независимым беспристрастным профессиональным медиатором, представляющим специализированную организацию, осуществляющую деятельность в области медиации.

По нашему мнению, наиболее эффективной медиация может быть тогда, когда ее проведение возложено на лицо, обладающее специальными юридическими навыками, а также знаниями в области проведения переговоров, конфликтологии, психологии и пр. К тому же передача конфликта для разрешения независимому профессионалу позволит решить проблему возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц, ведущих производство, а также со стороны потерпевшего, который может попытаться использовать процедуру медиации с целью оказания влияния на обвиняемого и получения от него несоразмерного деянию возмещения вреда.

Особые знания и навыки медиатора должны оградить участников конфликта от подобных ситуаций и привести не просто к формальному достижению соглашения, но и к разрешению конфликта на психоэмоциональном уровне (Арутюнян 2013: 91).

Таким образом, медиация, будучи изначально экспериментальным способом и программой по разрешению уголовно-правовых конфликтов, по мере своего распространения и внедрения превратилась в самостоятельный институт, закрепленный в нормах процессуального законодательства.

Историко-правовые аспекты медиации в России. К факторам, оказавшим влияние на развитие примирительных практик русского народа, относят многоукладность социальной жизни, разнообразие культурной жизни и народных традиций (при сохранении некоей общей духовно-идеологической основы). Существенное влияние оказало и православие с его проповедью миролюбия и смирения (Кудрявцев 2014: 64).

Отечественный путь развития примирительных практик берет свое начало в Русской Правде, псковской Судебной грамоте, судебниках 1497 и 1550 гг., в Соборном Уложении, которые предполагали компенсацию вреда и примирение на любых стадиях рассмотрения конфликта. При этом в процессе примирения участвовали члены общины, поселения, а также использовались услуги посредников (едначей). Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и Устав уголовного судопроизводства 1864 г. допускали примирение только по делам частного обвинения (Василенко 2013: 24).

При определении места медиации в российском процессуальном праве необходимо отметить, что понятие и содержание данного термина в уголовном праве имеет свои отличительные черты в сравнении с другими поощрительными нормами, которые регулируют процесс медиации.

По мнению Н.С. Шатихиной, медиация вполне органична для российского законодательства. Отечественной спецификой являются разрозненные поощрительные практики, представленные в науке традиционно прощением правонарушителя государством (Шатихина 2004: 28).

Так, до 1990-х гг. данные процессы происходили преимущественно с учетом интересов государства, что влияло и на результат. Изменения российской общественно-политической жизни поставили на повестку дня поиск уголовно-правовых механизмов, при которых уступки государства переросли бы в обязанность государственных органов быть активной стороной процесса нивелирования конфликтов в обществе. Одним из таких механизмов выступает медиация, которая предполагает особую форму реализации общего метода поощрения и компромисса в борьбе с преступностью.

Н.С. Шатихина определяет медиацию как «специфический уголовно-правовой механизм урегулирования конфликта, возникшего в обществе в результате совершения преступления, реализуемый в виде совокупности взаимонаправленных юридически значимых действий участников конфликта при активной посреднической роли государственных органов» (Шатихина 2004: 8). Проведенный исследователем анализ нормативного

массива по вопросу предоставления поощрительных благ лицу, которое совершило преступление, позволил выделить два института, отвечающие указанным выше требованиям – это примирение с потерпевшим и деятельное раскаяние.

Первоначальная форма примирения, утвержденная законодательно в 1996 г., оказалась не вполне эффективной. Осмысление практики урегулирования юридических споров тесно связано с адвокатской деятельностью. Именно адвокаты относятся к первому типу медиаторов. Оказывая квалифицированную юридическую помощь и принимая непосредственное участие в управлении юридическими конфликтами, адвокаты поддерживают и развивают институт медиации как перспективную область деятельности, отвечающую поставленным перед ними профессиональным целям и задачам. В контексте разнообразного участия адвокатов в проведении примирительных процедур особое значение имеет принятие Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (Федеральный закон № 193-ФЗ, 2010), который вступил в силу с 1 января 2011 г.

Принимая во внимание особенности правового статуса российских адвокатов в вопросе урегулирования юридических споров посредством медиации, можно выделить следующие виды деятельности адвоката: 1) консультант одной из конфликтующей сторон, который оказывает помощь в урегулировании разногласий; 2) представитель одной из конфликтующей сторон в процессе подготовки и проведения медиации; 3) нейтральный посредник, или медиатор, который помогает спорящим сторонам достигнуть консенсуса и прийти к соглашению по возникшему спору.

Как отмечает отечественный исследователь А.М. Понасюк, существуют и отличия в деятельности адвоката в качестве медиатора. Во-первых, это предметная сфера деятельности адвоката, которая требует глубокого всестороннего анализа конфликтных отношений и возникших противоречий. Во-вторых, это роль адвоката как непредвзятого посредника, который помогает спорящим сторонам найти взаимовыгодные условия для прекращения спора. В-третьих, деятельность адвоката предполагает особую процедуру примирения, суть которой заключается в соблюдении оценочной модели медиации и профессиональной этики. Правовое регулирование данного вопроса отражено также в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Федеральный закон № 63-ФЗ, 2002), Кодексе профессиональной этики адвоката (Кодекс...) и в процессуальном законодательстве (Понасюк 2011: 11).

Ко второму типу медиаторов в уголовном процессе относятся сотрудники правоохранительных органов: «...если дело находится в производстве следователя, то решение им принимается с согласия руководителя следственного органа, если же речь идет о дознавателе – с согласия прокурора» (Воскобитова и др. 2007: 79).

Третий тип медиаторов – это мировые судьи по делам частного обвинения УПК РФ (Уголовно-процессуальный кодекс РФ № 174-ФЗ, 2001). Так, согласно ч. 5 ст. 319 УПК РФ мировой судья, рассматривающий конкретное

дело частного обвинения, обязан разъяснить сторонам процесса их право на примирение. Как отмечают некоторые исследователи, «по своему социально-правовому предназначению и положению институт мировых судей изначально соответствует духу примирительных процедур» (Воскобитова и др. 2007: 78).

Следует подчеркнуть, что, принимая во внимание современную практику ведения медиации профессиональными психологами, в отношении уголовных дел, по нашему мнению, медиаторами данные лица выступать не могут, если у них отсутствует профильное юридическое образование, необходимое для ведения процедуры применения в правовом поле с учетом сроков, процедур и техник уголовного процесса.

Полагаем, что ни адвокаты, ни мировые судьи, ни сотрудники правоохранительных органов посредниками-медиаторами при разрешении уголовно-правовых конфликтов не являются. В связи с введением нового института – судебных примирителей, представляется, что данные субъекты могут стать посредниками уголовно-процессуальной медиации и подойдут для этой роли лучше прочих, с учетом того что судебным примирителем может стать судья, пребывающий в отставке.

Во многих государствах медиация существует как способ разрешения уголовно-правовых конфликтов. «В последние два десятилетия институт медиации развивается во многих уголовно-процессуальных системах, причем развивается вне зависимости от специфики правовой системы и исповедуемой модели (формы) уголовного судопроизводства, став, по сути, явлением универсальным», – отмечает Л.В. Головки (Головки 2009: 128).

В отечественном уголовно-процессуальном праве институт медиации отсутствует, однако существуют институты освобождения от уголовной ответственности (прекращения уголовного дела и уголовного преследования по различным основаниям): в связи с примирением с потерпевшим, в связи с возмещением ущерба при назначении судебного штрафа, а также – по экономическим преступлениям – в связи с деятельным раскаянием. Таким образом, можно говорить, что существующие нормы содержат предпосылки и ресурс, которые необходимы для имплементации медиации.

Сущность медиации как альтернативного, отличающегося от традиционного (карательного), способа реагирования на преступление заключается в разрешении уголовно-правового конфликта, являющегося следствием совершенного преступления, между сторонами при участии независимого участника – медиатора. При этом медиация как программа восстановительного правосудия преследует следующие цели: 1) примирение потерпевшего с лицом, совершившим преступление, посредством восстановления прав потерпевшей стороны путем заглаживания вреда, а также реабилитация психологического состояния потерпевшего путем принесения извинений, объяснения причин содеянного; 2) предупреждение повторной виктимизации потерпевшего; 3) исправление и ресоциализация лица, совершившего преступление, ввиду осознания вины за совершенное, а также ответственности за последствия, наступившие в результате преступления, в том числе связанные с переживаниями потерпевшего, в ряде случаев и его родствен-

ников; 4) предупреждение повторного совершения преступления данным лицом; 5) восстановление нарушенного правопорядка.

Отечественный ученый А.А. Арутюнян выделяет две модели медиации в зависимости от стадии процесса ее применения: до возбуждения уголовного дела и после возбуждения уголовного дела. Применение первой модели урегулирования конфликта предполагает отказ органов уголовной юстиции от возбуждения уголовного преследования. К ней относятся примирительные формы разрешения уголовного дела. Вторая модель медиации понимается как примирение сторон до вынесения решения суда (Арутюнян 2013: 91). Первая модель медиации вступает в противоречие с ныне действующими нормами процессуального законодательства. Так, на основании положений ст. 21 УПК РФ органы уголовной юстиции обязаны в каждом случае обнаружения признаков преступления осуществлять уголовное преследование, а также осуществлять предварительное расследование по возбужденному уголовному делу (Уголовно-процессуальный кодекс РФ № 174-ФЗ, 2001: ст. 21).

На основании изложенного полагаем, что применительно к отечественной системе уголовного судопроизводства приемлемой будет являться вторая модель медиации, проводимой как на стадии предварительного расследования в досудебном производстве, так и на стадии судебного рассмотрения дела. (На этапе судебного рассмотрения медиация вполне возможна, хотя зачастую стороны, не изъявившие желание пройти медиацию на стадии расследования, исходя из того что от момента произошедшего преступного деяния до начала судебного рассмотрения проходит достаточно много времени и поучаствовав в следственных действиях (очных ставках и пр.), укрепляются в своем решении не участвовать в альтернативной процедуре. Тем не менее нельзя исключать случаи, когда стороны могут прийти к пониманию необходимости проведения медиации и озвучить свое волеизъявление на стадии судебного рассмотрения уголовного дела.)

Представляется, что успешно пройденная процедура медиации может являться основанием для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) и, кроме того, быть обстоятельством, смягчающим наказание, учитываться при принятии решения об освобождении от наказания (в зависимости от тяжести деяния, обстоятельств совершенного преступления, с учетом характеристик личности и посткриминального поведения).

Медиация как процедура примирения имеет смысл лишь в том случае, если нормы права предусматривают само примирение как основание для отказа государства от уголовного преследования. В настоящий момент это возможно по преступлениям небольшой и средней тяжести. Мы полагаем, что медиация может иметь место и по преступлениям, относящимся к категории тяжких, к примеру по преступлениям против собственности, по которым от позиции потерпевшего сильно зависит степень общественной опасности деяния. Таким образом, мы можем говорить о расширении диспозитивных начал в уголовном процессе.

Решение о прекращении уголовного преследования в досудебном производстве при заключении медиативного соглашения по итогам прохождения

процедуры медиации (в случае достижения примирения) необходимо отнести к компетенции судьи, что, в свою очередь, позволит исключить заинтересованность в определенном исходе дела со стороны правоохранительных органов и их должностных лиц.

В.Г. Громов, Н.И. Минкина рассматривают пенитенциарную модель медиации в качестве перспективного инструмента разрешения конфликтов среди осужденных в исправительных учреждениях (Громов, Минкина 2016: 461). Полагаем, что медиация жертвы и преступника, отбывающего наказание в исправительных учреждениях, может способствовать достижению как целей уголовного судопроизводства в части восстановления прав потерпевшей стороны, так и целей превенции.

На наш взгляд, низкая популярность института медиации в России, а также и затруднения, связанные с вопросами имплементации медиации по уголовным делам, обусловлены: а) отсутствием должной подготовки и условий для формирования профессиональных качеств посредников; б) причинами доктринального характера; в) сильной поддержкой карательных мер воздействия со стороны общества, законодательных органов; г) сопротивлением и незаинтересованностью судей, прокуратуры, правоохранительных органов в появлении альтернативных институтов и процедур; д) уже ставшим традиционным недоверием к институтам государственной власти в лице правоохранительных органов; е) недостаточным информированием общества; ж) отсутствием веры в лучшее будущее, подавленностью и цинизмом, характерным для некоторой части общества; з) коррупцией в системе правосудия.

Кроме того, одним из спорных вопросов является вопрос соотношения медиации и наказания в уголовном судопроизводстве. Мы считаем, что восстановительный и карательный подходы не противоречат друг другу и в совокупности могут способствовать достижению различных целей правосудия.

Современное общество нуждается в разработке легитимной модели процедуры медиации, направленной на примирение и поиск компромисса, способствующей осознанию виновным содеянного и признанию им совершенных ошибок, которая позволит обеспечить разрешение возникающих уголовно-правовых конфликтов. Медиация, являясь эффективным средством разрешения уголовно-правовых конфликтов, будет содействовать формированию культуры примирения и доверия к системе правосудия, снижению социальной напряженности в обществе. К безусловными ценностями данной процедуры следует отнести исцеляющую силу правосудия, нацеленность на конструктивный диалог, умение прощать.

Заключение. Восстановительные практики урегулирования конфликтов с древнейших времен до наших дней в разных обществах имеют своим основанием религиозно-традиционные представления о реконструкции нарушенных в обществе правоотношений. Исходя из результатов проведенного в настоящей статье ретроспективного анализа процесса становления института медиации в российском и зарубежном праве, мы можем утверждать, что истоки примирительных практик с участием посредника

обнаруживаются уже в античный период. Важную роль в процессе становления восстановительных практик предыдущих периодов отводили философам. Это, на наш взгляд, вполне оправданно, ввиду того что философ часто рассматривался как человек, обладающий достаточными знаниями для аргументированного ведения спора в направлении достижения консенсуса и высокой степенью справедливости, необходимой для объективной оценки доводов спорящих сторон и общего дискурса конфликта.

На раннем этапе развития восстановительное правосудие нашло свое отражение в идеях майевтики и имело все основания продолжить свое активное влияние на процесс разрешения спора, однако в период Средневековья, в большей степени из-за религиозных представлений общества, медиативные практики практически не применялись. Данный период характеризуется стагнацией, практически повсеместным подчинением единоличной воле оперирующих религиозными догматами ораторов, философов и лидеров.

Период Нового времени был более плодотворным и «оживил» восстановительное правосудие, что нашло свое отражение в гуманистических идеях писателей и философов. На данном этапе развития примирительных практик постулируются заложенные еще в Античности этические нормы ведения переговоров, стремление к выходу из конфликтных ситуаций через подписание мирного соглашения. Важным становится решение спора без эскалации конфликта при соблюдении требования взаимного уважения в процессе ведения диалога. Вновь встает вопрос о роли посредника в решении сложных вопросов, когда конфликтующим сторонам трудно объективно оценить доводы друг друга и самостоятельно прийти к консенсусу, а квинтэссенцией всего процесса, кажется, может быть только судебное разбирательство.

Философские идеи Нового времени в совокупности с традиционными представлениями существенно повлияли на историко-правовое становление института медиации в России и в отдельных зарубежных странах. Для зарубежных стран, в частности для США, наравне с медиацией характерно достаточное количество примеров примирительных практик с участием посредника. Анализ российской правовой истории показывает, что идеи примирения с участием посредника встречаются также в российском праве периода XV–XVI веков. На современном этапе развития медиация применяется как альтернативная процедура разрешения спора. Положения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (Федеральный закон № 193-ФЗ, 2010) распространяют свое действие на споры, которые возникают в сфере гражданских, административных и иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также на трудовые и семейные правоотношения.

Представляется, что детальный анализ зарубежных и отечественных медиативных практик позволит выделить пределы применения медиации как инструмента решения конфликтных ситуаций, в том числе

и в уголовном процессе, а также четко определить положение данного института в российском уголовно-процессуальном законодательстве.

В связи с этим встает вопрос об имплементации положений медиации в уголовный процесс для усовершенствования как уголовного судопроизводства в целом, так и отдельных его институтов. Предпосылки внедрения медиативных практик в отечественное уголовное судопроизводство рассмотрены в трудах некоторых исследователей, однако современное развитие уголовного права и процесса требует некоторого переосмысления и актуализации выдвинутых предположений, чему будут посвящены наши следующие работы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Арутюнян А.А. 2013. Медиация в уголовном процессе. Москва : Инфотропик Медиа. 200 с.

Василенко А.С. 2013. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в уголовном процессе стран англосаксонского права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва. 32 с.

Воропай Т.С. 2001. Человек в мире слова: Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) (обзор) // Сборник обзоров и рефератов. Сер. «Философия» РАН. ИНИОН. Центр гуманист. науч.-информ. исслед./ отв. ред. А.И. Панченко, сост. И.С. Андреева. Москва. С. 53–75. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=216361> (дата обращения: 06.05.2020).

Воскобитова Л.А. и др. 2007. Мировая юстиция: к вопросу о внедрении идей восстановительного правосудия / Л.А. Воскобитова, А.Н. Сачков, В.Н. Ткачев // Российское правосудие. № 12. С. 76–84.

Головкин Л.В. 2009. Институт уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской Федерации // Закон. № 4. С. 127–135.

Громов В.Г., Минкина Н.И. 2016. Медиация в урегулировании конфликтов среди осужденных и предупреждении преступности в исправительных учреждениях // Всероссийский криминологический журнал. Т. 10, № 3. С. 459–469.

Зер Х. 2002. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание : пер. с англ. Москва : Изд-во Центра «Судебно-правовая реформа». 328 с.

Кодекс профессиональной этики адвоката : принят I Всерос. съездом адвокатов 31 января 2003 г. (ред. от 20.04.2017). URL: <https://to77.minjust.gov.ru/ru/kodeks-professionalnoy-etiki-advokata-1> (дата обращения: 10.04.2020).

Костогрызлов П.И. 2018. Общинное правосудие в странах Латинской Америки. Москва : Юрлитформ. 248 с.

Кудрявцев М. 2014. Традиционные формы примирения в обычаях русского народа (из истории общинного самоуправления в России) // Вестник восстановительной юстиции. № 11. С. 64–74.

Кури Х. 2015. Медиация, восстановительное правосудие и социальная реинтеграция правонарушителей: последствия мер, альтернативных уголовному наказанию // Актуальные проблемы экономики и права. № 3 (35). С. 172–194.

Кури Х., Ильченко О.Ю. 2015. Медиация и восстановительное правосудие как современные тенденции уголовного процесса: российский и зарубежный опыт // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. № 1. С. 120–129.

Медведева Г.Л. 2000. «Пушкинская речь» Ф.М. Достоевского как философия поступка примирения // Дергачевские чтения-2000: Русская литература: националь-

ное развитие и региональные особенности : материалы Междунар. науч. конф., Екатеринбург, 10–11 окт. 2000 г. : в 2 ч. / сост. А.В. Починенов. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. Ч. 1. С. 131-133.

Понасюк А.М. 2011. Участие адвоката в урегулировании юридических споров посредством медиации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва. 29 с.

Руденко В.Н. 2011. Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире. Екатеринбург : УрО РАН. 644 с.

Русман Г.С. 2012. Развитие медиации в уголовном судопроизводстве // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. № 20. С. 66-69.

Софийчук Н.В., Валеев А.Т. 2014. Предпосылки внедрения института медиации в уголовное судопроизводство Российской Федерации (Криминологический и процессуальный аспекты) // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. № 4. С. 114-124.

Федотенков Е.С. 1999. Социально-политические взгляды Аврелия Августина : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь. 26 с.

Шатихина Н.С. 2004. Институт медиации в российском уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург. 28 с.

Юнгус Г.А. 2018. Гносеологические и онтологические аспекты посредничества (медиации) в их социально-философской интерпретации // Вестник Удмуртского университета. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Т. 28, вып. 3. С. 292-296.

Юнгус Г.А. 2020. Медиация: социально-философский анализ : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Владивосток. 24 с.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 2001. 22 дек. URL: <https://base.garant.ru/12125178/> (дата обращения: 10.04.2020).

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. 2002. 5 июня. URL: <https://base.garant.ru/12126961/> (дата обращения: 10.04.2020).

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с изм. и доп.) // Российская газета. 2010. 30 июля. URL: <https://base.garant.ru/12177508/> (дата обращения: 10.04.2020).

Mira N. Tarsheva, Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia named after V.V. Lukyanov, Orel, Russia.

E-mail: tarsevimirabella@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3860-2299

SPIN-код: 9039-9394

Natalia N. Tolkunova, Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, Russia.

E-mail: tolkunova2@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-2353-2099

SPIN-код: 1718-9822

Article received 08.06.2020, accepted 15.10.2020, available online 11.01.2021

Formation of the Institution of Mediation in Russia and Abroad

Abstract. The resolution of legal conflicts with the participation of a mediator is a resource mechanism for saving time, money and effort of the disputing parties in the process of reaching a consensus. Conciliatory practices involving a third impartial party have been known for a long time in many countries. This article is devoted to a retrospective analysis of the process of the restorative justice development and the formation of the institution of mediation. The philosophical prerequisites of mediation in the ancient and medieval periods and in modernity are considered. The author focuses on the historical and legal development of meditative practices both in Russia and abroad. In more details, mediation is considered as an alternative way of resolving criminal conflicts, revealing its essential characteristics in the field of criminal justice. The author concludes that the existing rules of criminal procedure law contain the prerequisites and resources that are necessary for the implementation of mediation in the domestic criminal proceedings. There are three models of mediation depending on the stage of its application: prior the initiation of the criminal case; after the initiation of a criminal case; the penitentiary model of mediation. The retrospective analysis of the process of establishing the institution of mediation in Russian and foreign law draws attention to the fact that the origins of conciliatory practices with the participation of the mediator had existed in ancient society. At an early stage of development, restorative justice was reflected in the ideas of Mayevtics; during the Middle Ages, media practices were practically not applied. The period of modernity was more fruitful; it “revitalized” the restorative justice, finding its reflection in the humanistic ideas of writers and philosophers. Philosophical ideas of the modernity deeply influenced the historical and legal establishment of the institution of mediation in Russia and in foreign countries. At the present stage of development, mediation is used as an alternative procedure for resolving a dispute. The methodological basis of the work is formed by the universal (dialectical-materialistic) methodology in combination with other general scientific methods of cognition (analysis, synthesis, induction, deduction, systemic method, etc.); special legal methods: comparative legal, sociological, legal dogmatic, etc.

Keywords: mediation; restorative justice; intermediation; conciliatory practices; criminal proceedings; alternative way to resolve criminal conflict.

For citation: Tarsheva M.N., Tolkunova N.N. *Stanovlenie instituta mediatsii v Rossii i za rubezhom* [Formation of the Institution of Mediation in Russia and Abroad], *Antinomii=Antinomies*, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 124–142. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10407. (in Russ.).

References

Arutyunyan A.A. *Mediatsiya v ugovnom protsesse* [Mediation in criminal proceedings], Moscow, Infotropik Media, 2013, 200 p. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 27 iyulya 2010 goda № 193-FZ «Ob al'ternativnoy protsedure uregulirovaniya sporov s uchastiem posrednika (protsedure mediatsii)» (s izm. i dop.) [Federal law No. 193-FZ of 27.07.2010 “On alternative dispute resolution procedure with the participation of a mediator (mediation procedure)” (with changes and additions)], *Rossiyskaya gazeta*, 2010, 30 July, available at: <https://base.garant.ru/12177508/> (accessed April 10, 2020). (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 31 maya 2002 goda № 63-FZ «Ob advokatskoy deyatelnosti i advokature v Rossiyskoy Federatsii» (s izm. i dop.) [Federal law No. 63-FZ of 31.05.2002 “On advocacy and advocacy in the Russian Federation” (with changes and additions)], *Rossiyskaya gazeta*, 2002, 5 June, available at: <https://base.garant.ru/12126961/> (accessed April 10, 2020). (in Russ.).

Fedotenkov E.S. *Sotsial'no-politicheskie vzglyady Avreliya Avgustina : avtoref. dis ... kand. ist. nauk* [Social and political views of Aurelius Augustin : Abstr. of diss.], Stavropol, 1999, 26 p. (in Russ.).

Golovko L.V. *Institut ugovolno-pravovoy mediatsii i ego perspektivy v Rossiyskoy Federatsii* [Institute of Criminal And Legal Mediation and Its Prospects in the Russian Federation], *Zakon*, 2009, no. 4, pp. 127-135. (in Russ.).

Gromov V.G., Minkina N.I. *Mediatsiya v uregulirovanii konfliktov sredi osuzhdennykh i preduprezhdenii prestupnosti v ispravitel'nykh uchrezhdeniyakh* [Mediation in conflict resolution among convicts and prevention of crime in correctional institutions], *Vserossiyskiy kriminologicheskiy zhurnal*, 2016, vol. 10, no. 3, pp. 459-469. (in Russ.).

Kodeks professional'noy etiki advokata : prinyat I Vseros. s»ezdom advokатов 31 yanvarya 2003 g. (red. ot 20.04.2017) [Lawyer's code of professional ethics, was adopted by the First all-Russian Congress of lawyers on January 31, 2003 (as amended on April 20, 2017)], available at: <https://to77.minjust.gov.ru/ru/kodeks-professionalnoy-etiki-advokata-1> (accessed April 10, 2020). (in Russ.).

Kostogryzov P.I. *Obshchinnoe pravosudie v stranakh Latinskoj Ameriki* [Community Justice in Latin American Countries], Moscow, Yurlitiform, 2018, 248 p. (in Russ.).

Kudryavtsev M. *Traditsionnye formy primireniya v obychayakh russkogo naroda (iz istorii obshchinnogo samoupravleniya v Rossii)* [Traditional forms of reconciliation in the customs of the Russian people (from the history of community self-government in Russia)], *Vestnik vosstanovitel'noy yustitsii*, 2014, no. 11, pp. 64-74. (in Russ.).

Kuri Kh. *Mediatsiya, vosstanovitel'noe pravosudie i sotsial'naya reintegratsiya pravonarushiteley: posledstviya mer, al'ternativnykh ugovolnomu nakazaniyu* [Mediation, restorative justice and social reintegration of offenders: the effect of alternative sanctions to penal punishment], *Aktual'nye problemy ekonomiki i prava*, 2015, no. 3 (35), pp. 172-194. (in Russ.).

Kuri Kh., Il'chenko O.Yu. *Mediatsiya i vosstanovitel'noe pravosudie kak sovremennye tendentsii ugovolnogo protsessa: rossiyskiy i zarubezhnyy opyt* [Mediation and restorative justice as tendencies of modern criminal process: Russian and foreign experience], *Kriminologicheskiy zhurnal Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava*, 2015, no. 1, pp. 120-129. (in Russ.).

Medvedeva G.L. «Pushkinskaya rech'» F.M. Dostoevskogo kak filosofiya postupka primireniya [“Pushkin's speech” by F. M. Dostoevsky as the philosophy of the act of reconciliation], *A.V. Pochinonov (comp.), Dergachevskie chteniya-2000: Russkaya literatura: natsional'noe razvitie i regional'nye osobennosti : materialy Mezhdunar. nauch. konf., Ekaterinburg, 10–11 okt. 2000 g. : v 2 ch.*, Yekaterinburg, Izdatelstvo Uralskogo universiteta, 2000, pt. 1, pp. 131-133. (in Russ.).

Ponasyuk A.M. *Uchastie advokata v uregulirovanii yuridicheskikh sporov posredstvom mediatsii : avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk* [Participation of a lawyer in the settlement of legal disputes through mediation : Abstr. of diss.], Moscow, 2011, 29 p. (in Russ.).

Rudenko V.N. *Uchastie grazhdan v otpravlenii pravosudiya v sovremennom mire* [Citizen participation in judiciary in contemporary world], Yekaterinburg, UrO RAN, 2011, 644 p. (in Russ.).

Rusman G.S. *Razvitie mediatsii v ugovolnom sudoproizvodstve* [Development of mediation in criminal proceedings], *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo*, 2012, no. 20, pp. 66-69. (in Russ.).

Shatikhina N.S. *Institut mediatsii v rossiyskom ugovolnom prave : avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk* [Institute of Mediation in Russian Criminal Law: Abstr. of diss.], St.-Petersburg, 2004, 28 p. (in Russ.).

Sofiychuk N.V., Valeev A.T. *Predposylki vnedreniya instituta mediatsii v ugovnoe sudoproizvodstvo Rossiyskoy Federatsii (Kriminologicheskiy i protsessual'nyy aspekty)* [Prerequisites the quisites the implementation of the institute of mediation in criminal proceedings of Russian Federation (Criminological and procedural aspects)], *Kriminologicheskiy zhurnal Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava*, 2014, no. 4, pp. 114-124. (in Russ.).

Ugolovno-protsessual'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 18 dekabrya 2001 goda № 174-FZ (s izm. i dop.) [Criminal procedure code of the Russian Federation No. 174-FZ of 18.12.2001 (with changes and additions)], *Rossiyskaya gazeta*, 2001, 22 dec., available at: <https://base.garant.ru/12125178/> (accessed April 10, 2020). (in Russ.).

Vasilenko A.S. *Mediatsiya i drugie programmy vosstanovitel'nogo pravosudiya v ugovnom protsesse stran anglosaksonskogo prava : avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk* [Mediation and other restorative justice programs in the criminal process of Anglo-Saxon law], Moscow, 2013, 32 p. (in Russ.).

Voropay T.S. *Chelovek v mire slova: Mikhail Mikhaylovich Bakhtin (1895–1975) (obzor)* [Man in the world of words: Mikhail Bakhtin (1895–1975)], A.I. Panchenko (resp. ed.), I.S. Andreeva (comp.), *Sbornik obzorov i referatov. Ser. «Filosofiya»*, Moscow, 2001, pp. 53-75, available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=216361> (accessed May 06, 2020). (in Russ.).

Voskobitova L.A., Sachkov A.N., Tkachev V.N. *Mirovaya yustitsiya: k voprosu o vnedrenii idey vosstanovitel'nogo pravosudiya* [World Justice: on the issue of introducing the ideas of restorative justice], *Rossiyskoe pravosudie*, 2007, no. 12, pp. 76-84. (in Russ.).

Yungus G.A. *Gnoseologicheskie i ontologicheskie aspekty posrednichestva (mediatsii) v ikh sotsial'no-filosofskoy interpretatsii* [Epistemological and ontological aspects of mediation in their socio-philosophical interpretation], *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Ser. Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika*, 2018, vol. 28, iss. 3, pp. 292-296. (in Russ.).

Yungus G.A. *Mediatsiya: sotsial'no-filosofskiy analiz : avtoref. dis. ... kand. filos. nauk* [Mediation: social and philosophical analysis : Abstr. of diss.], Vladivostok, 2020, 24 p. (in Russ.).

Zehr H. *Vosstanovitel'noe pravosudie: novyy vzglyad na prestuplenie i nakazanie* [Changing lenses: a new focus for crime and justice], Moscow, Izdatel'stvo Tsentra "Sudebno-pravovaya reforma", 2002, 328 p. (in Russ.).



Сёмин П.О., Киль Ю.Э., Сеницына В.А. Дублирование и оригинальность при установлении региональных категорий особо охраняемых природных территорий в России. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10408 // Антиномии. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 143–163.

УДК 349.6

DOI 10.24411/2686-7206-2020-10408

Дублирование и оригинальность при установлении региональных категорий особо охраняемых природных территорий в России

Павел Олегович Сёмин

менеджер по коммуникациям с пользователями ООО «Хабр»,
г. Москва, Россия.

E-mail: ntsp@ya.ru

ORCID: 0000-0002-4015-9206

SPIN-код: 4247-0428

Юлия Эдуардовна Киль

магистрант Уральского государственного юридического университета,
г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: jullia3913@mail.ru

SPIN-код: 8980-5387

Валерия Андреевна Сеницына

магистрант Уральского государственного юридического университета,
г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: sinitsina-lera@mail.ru

SPIN-код: 3570-3429

*Статья поступила 21.06.2020, принята к печати 01.10.2020,
доступна online 11.01.2021*

В эмпирических исследованиях экологического права и политики важное место занимает вопрос о механизмах, определяющих связь территориально-государственного устройства с экологическими показателями. К числу таких механизмов в федерациях, в частности в России, относится дублирование. В данной работе исследуется узкий аспект проблемы: дублирование при установлении региональных категорий особо охраняемых природных территорий. Цель исследования – определить, как сочетаются оригинальность и дублирование при установлении региональных категорий, и дать юридическую интерпретацию наблюдаемых явлений. Задачи: 1) собрать массив правовой информации обо всех региональных категориях; 2) сравнить каждую



© Сёмин П.О., Киль Ю.Э., Сеницына В.А., 2020

федеральную категорию с каждой региональной категорией и определить, какой является региональная категория – оригинальной или дублирующей; 3) обобщить результаты сравнения и предложить их юридическую интерпретацию. Основной метод работы – сравнительный анализ по специальной количественной методике. Дополнительные методы – синтез, индукция, дедукция, абстрагирование. Также используются отдельные методы статистического анализа данных. Результаты исследования показывают, что дублирование при установлении региональных категорий в России многократно преобладает над оригинальностью, а медианное сходство федеральных категорий с региональными выше, чем нормальный уровень сходства. Вероятно, часть результатов, свидетельствующих о дублировании, объясняется тем, что региональные законодатели недостаточно подробно регламентируют специфику региональных категорий. Дублирование имеет отрицательные и положительные последствия: оно способно приводить к снижению уровня правовой охраны ценных территорий, но одновременно является механизмом, компенсирующим недостатки федерального регулирования и выступающим своего рода «страховкой» на случай негативных изменений федерального законодательства. Соответственно, дублирование может быть как необоснованным, так и обоснованным. Отсюда закономерен вывод, что региональным законодателям следует избегать необоснованного дублирования, а также детально регламентировать специфику региональных категорий.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, категории особо охраняемых природных территорий, виды особо охраняемых природных территорий, типы управления охраняемыми территориями, сравнение категорий, федерализм, региональное законодательство, дублирование, статистический анализ, эмпирическое правопедение.

Введение. В сравнительных исследованиях экологического права и политики важное место занимает вопрос о связи экологических показателей (*environmental performance*) с территориально-государственным устройством (Fiorgino 2011: 380; Мао 2018: 2). Исследователи говорят о преимуществах федерализма, но отмечают, что иногда централизация позволяет добиться лучших результатов (Millimet 2013: 2). При такой неоднозначности оценок становится важным изучение механизмов, которые определяют эффективность регулирования в экологической сфере при разграничении полномочий между уровнями публичной власти.

Есть разные аспекты, определяющие характер связи между территориально-государственным устройством и экологическими показателями. Например, если территориальные единицы стремятся улучшить качество жизни, они проводят более жесткую экологическую политику (эффект «гонки вверх» – *race to the top*). Однако конкурентная борьба за инвестиции, напротив, может привести к снижению экологических стандартов в угоду экономическому развитию («гонка вниз» – *race to the bottom*) (Мао 2018: 2). Обычно полагают, что децентрализация помогает проводить экологическую политику, лучше учитывающую местные потребности и условия (Мао 2018: 2; Sigman 2007: 25). В то же время для принятия экологически значимых решений нередко требуется не только знание особенностей территории, но и фундаментальные научные исследования, ресурсы для проведения которых имеются преимущественно на общенациональном уровне (Millimet 2013: 35). В децентрализованных системах больше «точек

влияния», через которые можно продвинуть природоохранные инициативы, но больше и возможностей наложить вето на решения, важные для сохранения окружающей среды (Poloni-Staudinger 2008: 412–414).

К особенностям федераций, влияющим на результативность экологического регулирования, относят совпадение и дублирование (*overlap and duplication*): федеральные и региональные органы власти осуществляют одинаковые или схожие полномочия в одной и той же сфере. Считается, что дублирование – это негативное явление, которое мешает построению эффективной системы управления, приводит к пустой трате ресурсов (Poloni-Staudinger 2008: 413). Однако есть другая точка зрения: дублирование позволяет учесть взаимосвязь природных процессов, а также создает предохранительные механизмы, благодаря которым один уровень публичной власти исправляет ошибки другого (Hollander 2009: 151–156). Таким образом, вопрос о влиянии дублирования на экологические показатели федераций остается открытым.

Исследование механизмов связи федерализма и экологических показателей актуально и для России. Многочисленность и разнородность субъектов Федерации – это предпосылка для разнообразного правового регулирования. Одновременно в России сильны тенденции к централизации и унификации, и, как следствие, потенциал для разнообразия нередко не реализуется либо реализуется в деформированном виде. Таким образом, можно поставить общий вопрос: какая тенденция преобладает при регулировании экологических правоотношений в субъектах Российской Федерации: установление оригинальных норм или дублирование федеральных? Ответ на него можно искать разными методами, в частности эмпирическими.

Данная работа сфокусирована на анализе одного конкретного аспекта проблемы. Это установление категорий особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Категории относятся к продуктам (*outputs*) экологической политики (Fiorino 2011: 369–370). Выбранный объект является предельно узким, но это позволяет применить строгую количественную методику анализа эмпирического материала. Результаты помогут понять, как устроена система категорий ООПТ в России и как в ней сочетаются оригинальные варианты с дублирующими. На основе полученных данных можно будет сделать рекомендации о совершенствовании системы категорий ООПТ и более общие выводы о связи федерализма с экологическими показателями.

Перед началом исследования нужно уточнить содержание понятий, которые в нем используются. Под *федеральными категориями* понимаются категории ООПТ, установленные Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Закон об ООПТ): государственные природные заповедники (заповедники), национальные парки, государственные природные заказники (заказники), природные парки, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады (дендропарки и ботсады) (см.: Федеральный закон № 33-ФЗ, 1995). *Региональные категории* – это категории ООПТ, установленные действующими законами субъектов России, а также категории ООПТ, прямо не указанные в действующих законах субъектов России, но введенные

иными нормативно-правовыми актами регионального уровня, принятыми до 30 декабря 2013 г.¹ Региональные категории могут быть оригинальными или дублирующими. *Оригинальные категории* – региональные категории, которые не имеют явных аналогов среди федеральных. *Дублирующие категории* – региональные категории, которые в значительной степени похожи хотя бы на одну из федеральных категорий (то есть существует *аналогичная федеральная категория*). *Виды ООПТ* – это ООПТ федерального, регионального или местного значения.

Таким образом, объект исследования – это федеральные и региональные категории, а предмет – сходства и различия этих категорий. Цель исследования – определить, как сочетаются оригинальность и дублирование среди региональных категорий, и дать юридическую интерпретацию наблюдаемых явлений.

Материалы и методы. За основу методики данного исследования была взята методика сравнения федеральных категорий с категориями охраняемых территорий по классификации Международного союза охраны природы (МСОП) (Благовидов и др. 2002: 25-29). Она задействует четыре признака; это задачи управления, определение, критерии выбора территории, организационная ответственность. По каждому из признаков выставляются баллы, причем на признак «задачи управления» приходится 2/3 баллов, а на остальные признаки – 1/3. Баллы суммируются и переводятся в индекс сходства.

Оригинальная методика была опубликована в 2002 г., и, поскольку она применялась для сравнения федеральных категорий с международными, а не с региональными, требовалась ее адаптация. Из перечня федеральных категорий были исключены лечебно-оздоровительные местности и курорты, а задача «туризм и рекреация» в случае заповедников была перенесена из разряда «потенциально применимые» в разряд «второстепенные», поскольку «развитие познавательного туризма» было прописано в числе законодательно закрепленных задач этой категории ООПТ в 2011 г.² Из четырех признаков для сравнения был оставлен один – задачи управления. Признак «определение» не использовался, так как легальные определения региональных категорий обычно содержат указание на задачи; критерии выбора территории для региональных категорий в большинстве случаев

¹ До 30 декабря 2013 г. категории ООПТ могли быть установлены любыми нормативно-правовыми актами субъектов России, а также муниципальными правовыми актами. С 30 декабря 2013 г. региональные категории устанавливаются только законами субъектов России. Если ООПТ, созданные до 30 декабря 2013 г., не были реорганизованы, то они сохраняют прежний статус, вместе с ними сохранились и соответствующие категории (см.: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “Об особо охраняемых природных территориях” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 406-ФЗ, 2013)).

² См. ст. 2 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 365-ФЗ, 2011: ст. 2).

не установлены; организационная ответственность, по рекомендациям МСОП, перестала иметь значение для различения категорий ООПТ с 2008 г. Сравнение категорий только по задачам является допустимым, поскольку в российской научной литературе отмечается важность целей и задач как признака категорий ООПТ, а МСОП прямо устанавливает, что категории выделяются в соответствии с задачами управления (Dudley 2008: 10).

Таким образом, сравнение федеральных и региональных категорий проводилось следующим образом.

Сначала был составлен полный список региональных категорий. В него включались категории, прямо указанные в законах субъектов, а также категории, упоминающиеся в официальной статистике: в перечнях либо кадастрах ООПТ или в государственных докладах о состоянии и об охране окружающей среды. Законы – основной источник информации; официальная статистика использовалась только для поиска «старых» категорий, установленных до 30 декабря 2013 г. Законы были взяты по состоянию на март 2020 г., а перечни, кадастры и доклады – самые новые из доступных на это же время; они обычно отражают ситуацию за 2018–2019 гг. Одноименные категории в разных субъектах рассматривались как разные категории.

Далее был собран массив правовой информации, касающейся каждой региональной категории:

- 1) положения законов субъектов, непосредственно относящиеся к данной категории – обычно это легальное определение и статьи, устанавливающие особенности правового режима;
- 2) нормативно-правовые акты органов исполнительной власти субъекта, определяющие особенности правового регулирования категории – как правило, это типовые положения о категории;
- 3) правовые акты о создании конкретных ООПТ региональной категории и об утверждении положений о них;
- 4) сведения из государственных кадастров ООПТ, относящиеся к конкретным ООПТ региональной категории.

Логика формирования массива следующая: задачи категории должны формулироваться в законе либо подзаконном нормативно-правовом акте, поэтому в первую очередь производится поиск закона или подзаконного акта. Однако зачастую задачи не закреплены ни в законе, ни в иных нормативно-правовых актах. В таком случае, чтобы сделать выводы о задачах, нужно изучить конкретные примеры ООПТ, относящихся к региональной категории, поэтому осуществляется поиск индивидуальных положений. Если таких ООПТ и, следовательно, положений много (несколько десятков), то из них случайным образом выбираются одно-два, чтобы уменьшить объем работы. Если найти индивидуальные положения не получается, то используются сведения о задачах ООПТ, указанные в государственных кадастрах.

«Ядром» методики являются две таблицы с оценками категорий по девяти задачам: первая – оценки федеральных категорий, вторая – региональных. Таблица 1 была взята (с указанными выше адаптациями) из оригинальной методики (Благовидов и др. 2002: 26).

Оценки федеральных категорий¹

Задача	Заповедники	Национальные парки	Природные парки	Заказники	Памятники природы	Дендропарки и ботсады
Научные исследования	1	2	3	3	4	2
Сохранение участков дикой природы	2	3	3	1, 2, 3	3	4
Сохранение видов и генетического разнообразия	1	2	3	1, 2, 3	1, 2, 3	1
Предоставление экосистемных услуг	1	1	1	1, 2, 3	4	4
Охрана особых природных или культурных достопримечательностей	3	1	3	3	1	4
Туризм и рекреация	2	1	1	3	3	3
Образование	1	1	3	3	3	2
Долговременная и щадящая (устойчивая) эксплуатация ресурсов природных экосистем	4	3	4	2, 3	4	4
Сохранение культурных обычаев и традиций	4	3	4	3	4	4

¹ Цифры от 1 до 4 в ячейках таблицы характеризуют важность конкретной задачи для конкретной категории и соответствуют номерам в следующем перечне. Каждая задача может быть: 1) первостепенной; 2) второстепенной; 3) потенциально применимой; 4) неприменимой для данной категории.

Аналогичная таблица была составлена для региональных категорий, которая не приводится в тексте статьи из-за большого объема и опубликована в репозитории на GitHub (см. ссылку ниже). Если правовой информации для оценки было недостаточно, то категория не оценивалась. В целях уменьшения субъективности каждый из авторов статьи выставлял оценки независимо от других. Для определения степени согласия между соавторами был рассчитан специальный статистический показатель – каппа Флейса (*Fleiss' kappa*) (Fleiss 1971). Оценки трех авторов сводились в одну с использованием медианного значения (например, если авторы поставили оценки 1, 3 и 4, то медиана – 3). Если два автора оценили категорию, а третий решил не давать оценку из-за недостатка информации, то итоговая оценка определялась как среднее двух оценок, округленное в меньшую сторону (например, 1 и 2 давали 1). Если два автора отказывались давать оценку, то итоговая оценка не выставлялась и соответствующая строка таблицы оставалась пустой.

Таким образом, каждая федеральная категория и большинство региональных категорий оказались представлены набором из девяти оценок от 1 до 4. Далее региональные категории сравнивались с каждой федеральной категорией следующим образом:

- 1) в зависимости от совпадения оценок по каждой задаче выставлялись баллы: одинаковая оценка – 2 балла, различие на единицу – 1 балл, в остальных случаях – 0 баллов. Если федеральная категория по одной и той же задаче может оцениваться по-разному (например, «предоставление экосистемных услуг» у заказников может иметь оценку от 1 до 3), то выставлялся максимально возможный балл. Например, если региональная категория по этой же задаче имела оценку 4, то ставился 1 балл;
- 2) баллы по всем задачам суммировались. Минимальная сумма – 0, максимальная – 18 (2 балла × 9 задач);
- 3) баллы переводились в индекс сходства путем деления набранного балла на максимальный. Например, если набранный балл – 13, то индекс сходства равен 0,72. Индекс сходства может быть от 0 (полное различие) до 1 (полное сходство). Пример расчета индекса сходства при сравнении ресурсного резервата (Республика Саха (Якутия)) с заповедником приведен в табл. 2;
- 4) для каждой региональной категории выбиралось максимальное значение индекса сходства. Например, если индекс сходства с заповедниками, национальными парками, природными парками и заказниками составил 0,67, с дендропарками и ботсадами – 0,33, а с памятниками природы – 0,94, то итоговый индекс сходства равен 0,94;
- 5) если максимальное значение индекса сходства превышало 0,7 (пороговое значение), то региональная категория считалась дублирующей, иначе – оригинальной;
- 6) федеральная категория с максимальным индексом сходства помечалась как аналогичная. Если максимальный индекс сходства достигался с несколькими федеральными категориями одновременно, то они все помечались как аналогичные;
- 7) составлялась агрегированная статистика по оригинальности и дублированию.

Поскольку вычисление индексов вручную – трудоемкая задача, то для автоматизации работы был написан скрипт на языке программирования R. Все исходные данные: массив правовой информации, таблицы с оценками, код скрипта – опубликованы в открытом доступе .

Результаты. Оценки соавторов характеризуются невысокой степенью согласия: каппа Флаяса составила 0,3 (0 – полное несовпадение, 1 – полное совпадение). Это свидетельствует о том, что важность тех или иных задач региональных категорий довольно сложно оценить однозначно, особенно в условиях недостатка правовой информации. Тем не менее наличие трех независимых оценок повышает объективность результатов сравнения.

В России на март 2020 г. установлены 264 региональные категории. Из них примерно для 10% (32 категории) не удалось найти достаточного

¹ URL: <https://github.com/PavelSyomin/duplication-and-originality>

Таблица 2.

Сравнение ресурсного резервата с заповедником

Задача	Заповедник	Ресурсный резерват	Балл
Научные исследования	1	3	0
Сохранение участков дикой природы	2	1	1
Сохранение видов и генетического разнообразия	1	2	1
Предоставление экосистемных услуг	1	3	0
Охрана особых природных или культурных достопримечательностей	3	3	2
Туризм и рекреация	2	3	1
Образование	1	4	0
Долговременная и щадящая (устойчивая) эксплуатация ресурсов природных экосистем	4	3	1
Сохранение культурных обычаев и традиций	4	1	0
Итоговый балл	–	–	6
Индекс сходства	–	–	0,33

количества правовой информации, поэтому они были исключены из сравнения. Для оставшихся 232 региональных категорий результаты сравнения представлены в табл. 3.

Видно, что оригинальных категорий мало – всего 21 из 232. Примерно 90% региональных категорий являются аналогами той или иной федеральной категории, причем в большинстве случаев такая категория только одна. Наиболее часто дублируются заказники и природные парки.

Представляет интерес количество аналогов у каждой федеральной категории с учетом того, какое значение может иметь сходная с ней региональная категория: только региональное, только местное или и то и другое. Соответствующая информация представлена в табл. 4. Нужно отметить, что в этой таблице сумма больше, чем 232, потому что некоторые региональные категории, как следует из табл. 3, имеют черты сходства с несколькими федеральными категориями.

Результаты согласуются с выводами, изложенными в работе М.С. Стишова и Н. Дадли (Стишов, Дадли 2018: 78-107). По их оценкам, примерно 50 из 70 региональных категорий являются аналогами либо федеральных категорий, либо иных охраняемых территорий. Наиболее часто на региональном уровне дублируются такие федеральные категории, как природные парки и заказники. Различие в общем числе региональных категорий (около 70 против 264) объясняется использованием разных методик исследования: М.С. Стишов и Н. Дадли рассматривают одноименные категории в разных субъектах как одну категорию; в данной работе такие категории считаются разными, поскольку каждый субъект устанавливает

Таблица 3.

Региональные категории, дублирующие ту или иную федеральную категорию

Федеральная категория	Количество аналогичных региональных категорий (ед.)
Заказники	98
Природные парки	51
Национальные парки	13
Заповедники	11
Природные парки, заказники	7
Заповедники, заказники	6
Памятники природы	5
Национальные парки, природные парки	4
Заказники, памятники природы	3
Заповедники, национальные парки	3
Заповедники, национальные парки, заказники	2
Заповедники, природные парки	2
Национальные парки, природные парки, заказники	1
Национальные парки, заказники	1
Природные парки, заказники, памятники природы	1
Заповедники, национальные парки, природные парки	1
Заповедники, природные парки, заказники	1
Заповедники, заказники, дендрологические парки и ботанические сады	1
Всего дублирующих	211
Отсутствует	21

региональные категории самостоятельно и независимо от других, и тождественность названий не обязательно означает тождественное регулирование.

Перед тем как перейти к обсуждению результатов, необходимо обратить внимание на одно обстоятельство. Региональная категория оценивается как дублирующая, если индекс сходства превышает 0,7. Это пороговое значение было выбрано с учетом результатов сравнения федеральных категорий с международными, изложенных в упоминавшейся выше работе А. Благовидова с соавторами: федеральная категория считалась похожей на международную, если индекс сходства был выше 0,5–0,6 (Благовидов и др. 2002: 27–28), а для сравнения федеральных категорий с региональными было решено сделать порог чуть выше. Однако опасность выводов на основе порогового значения заключается в том, что любой порог может

Таблица 4.

Сравнение ресурсного резервата с заповедником

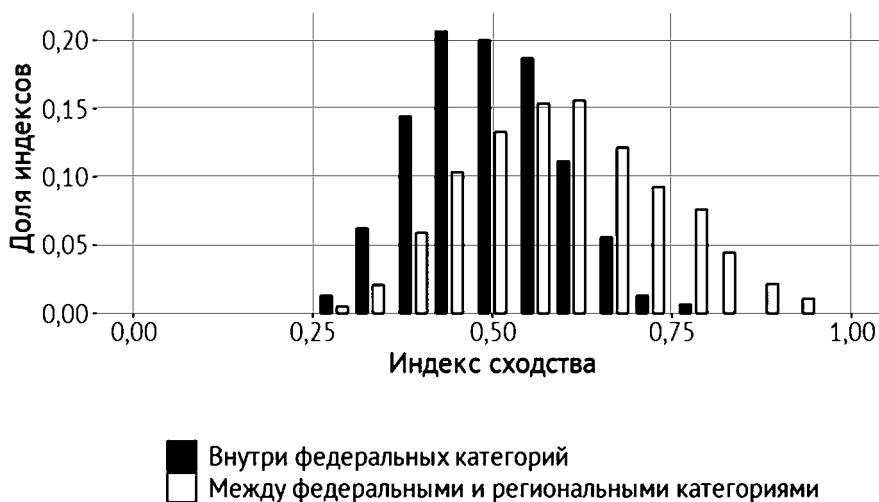
Возможное значение региональной категории	Аналоги заповедников	Аналоги национальных парков	Аналоги природных парков	Аналоги заказников	Аналоги памятников природы	Аналоги дендропарков и ботсадов	Оригинальные категории	Всего
Только региональное	10	5	13	40	0	1	6	75
Только местное	13	15	43	59	9	0	14	153
Региональное или местное	4	5	12	22	0	0	1	44
Сумма	27	25	68	121	9	1	21	272

оказаться неправильным и при каком-либо пороге оригинальность на самом деле преобладает над дублированием. Можно ли математически подтвердить, что независимо от порога сходство региональных категорий с федеральными является более высоким, чем следует?

Следует заметить, что федеральные категории тоже похожи друг на друга. Например, если сравнить заповедник с национальным парком, то индекс сходства составит 0,56. Справедливо предположить, что медианное значение индексов сходства между федеральными категориями – это нормальный уровень сходства, который не свидетельствует о дублировании. Более высокое медианное значение, напротив, говорит о дублировании.

Если сравнить федеральные категории между собой, то получится еще один набор индексов сходства. Далее набор индексов, характеризующий сходство *внутри группы* федеральных категорий, мы обозначим как первый; второй отражает сходство *между двумя группами*: федеральных и региональных категорий. В первом наборе 305 индексов (61 вариант федеральных категорий сравнивается с каждой из 5 остальных федеральных категорий; варианты образуются потому, что некоторые задачи заказников и памятников природы имеют несколько альтернативных оценок), а во втором – 1392 значения (6 федеральных категорий × 232 региональные категории). Такого количества достаточно для статистического анализа.

Медианное значение индекса сходства внутри группы федеральных категорий составляет 0,5, а медианное значение индекса сходства федеральных категорий с региональными составляет 0,61, то есть примерно на 0,1 больше. Данная разница характеризуется высоким уровнем стати-



Распределение индексов сходства между различными федеральными категориями и между федеральными и региональными категориями

стической значимости (Mann-Whitney $W = 118412$, $p < 0.001$). На графике видно, что распределение индексов сходства между группами смещено вправо по отношению к индексам сходства внутри группы федеральных категорий.

Таким образом, независимо от выбранного порога степень сходства региональных категорий с федеральными превышает нормальный уровень. Следовательно, среди региональных категорий в России можно констатировать дублирование.

Обсуждение. Анализ результатов позволяет вынести на обсуждение ряд положений, которые вызывают вопросы и представляют определенную проблему. Главный результат следующий: оригинальных категорий – 21 из 232, то есть меньше 10%. Основные вопросы можно сформулировать так: почему среди региональных категорий мало оригинальных и много дублирующих и какие положительные и отрицательные последствия имеет такое положение дел? Для начала целесообразно вывести некоторые суждения о дублировании отдельных федеральных категорий, после чего перейти к более общим выводам.

Только одна региональная категория имеет сходство с дендропарками и ботсадами. Данная ситуация, на первый взгляд, выглядит странно, поскольку при анализе массива правовой информации можно видеть что многие региональные категории имеют задачу сохранения растительного мира и его разнообразия, в том числе в научных и рекреационных целях. Однако категория дендропарков и ботсадов довольно специфическая: такие территории являются не природными, а природно-антропогенными,

в результате чего их сложно поставить в один ряд с «классическими» ООПТ наподобие заповедников. Вероятно, субъекты Федерации предпочитают устанавливать менее специфические категории.

Наиболее часто дублируются заказники: похожих на них региональных категорий 98, или почти 40% от общего количества. Это объясняется тем, что, согласно Закону об ООПТ, заказники способны выполнять все задачи, которые возложены на ООПТ в целом. Подтверждение этому можно получить, анализируя данные табл. 1: многие задачи для заказников могут принимать любое значение в диапазоне от первостепенных до потенциально применимых, и ни одна задача не является неприменимой. Следовательно, региональные категории, в отличие от дендропарков и ботсадов, можно назвать не специфическими, а универсальными, имеющими широкий спектр потенциально применимых задач. С другой стороны, наличие такой многозадачной федеральной категории, как заказники, способной заменить 40% региональных категорий, вызывает вопрос: не стоит ли более конкретно закрепить в Законе об ООПТ специфику заказников так, чтобы они перестали выглядеть универсальной категорией ООПТ?

Еще один проблемный момент связан с дублированием природных парков и заказников. Как видно из табл. 4, региональных категорий, аналогичных указанным федеральным категориям и при этом относящихся к ООПТ регионального значения, насчитывается 53 (или даже 87, если учитывать категории, которые способны иметь как региональное, так и местное значение). Логическое противоречие здесь в том, что указанные федеральные категории уже относятся к ООПТ регионального значения (природные парки – только регионального, заказники – федерального либо регионального). Иначе говоря, желание властей субъекта Российской Федерации создать природный парк или заказник должно реализовываться путем создания природного парка или заказника, а не посредством установления категорий с иным наименованием, фактически повторяющих задачи природных парков и заказников. Буквальное толкование пункта 3 статьи 2 Закона об ООПТ позволяет заключить, что субъекты Российской Федерации могут устанавливать именно «иные категории» ООПТ, что следует толковать как наделение субъектов Федерации полномочием по установлению категорий, отличающихся от федеральных. При этом отличие должно заключаться не в наименовании, а в содержании правового режима, в частности в особом наборе задач категории.

Что касается дублирования заповедников, национальных парков и памятников природы, то оно, напротив, вполне объяснимо: в дополнение к заповедникам или национальным паркам федерального значения появляются их аналоги, которые могут иметь региональное или местное значение, а в дополнение к памятникам природы федерального или регионального значения появляются их аналоги, которые могут быть местного значения. Некоторые дополнительные утверждения, касающиеся данного факта, будут сделаны в следующей части обсуждения.

Проанализировав частные результаты применительно к отдельным категориям, можно перейти к общим выводам о взаимодействии феде-

рального центра и регионов при установлении региональных категорий, а также о региональном правотворчестве в целом.

Результаты проведенного исследования показывают, что в России при установлении региональных категорий ООПТ в наибольшей степени практикуется совпадение и дублирование (*overlap and duplication*), а не создание оригинальных правовых конструкций. Говорить о «лабораторном федерализме» (*laboratory federalism*) (Millimet 2013: 36–38) следует весьма осторожно: субъекты в действительности создают не так много оригинальных категорий.

Конечно, нужно учитывать, что речь почти никогда не идет о тождественности категорий. По результатам исследования, индекс сходства равен единице только в трех случаях; в остальных же можно говорить лишь о достаточно высоком сходстве категорий. Высокая степень сходства не всегда означает, что категории содержательно являются одинаковыми. В частности, многие городские парки оказываются аналогами природных парков¹. Тем не менее в связи с высокой степенью сходства подавляющего большинства региональных категорий с федеральными возникают серьезные вопросы, первый из которых – о причинах такого положения дел. Ответов на этот вопрос может быть несколько.

Одна из причин связана с качеством исследуемого материала. Основным материалом являлся имеющийся массив региональных правовых актов. Существенная часть нормативно-правовых актов субъектов России не содержит в себе исчерпывающего правового регулирования целей и задач, установленных для региональных категорий. Так как из нормативно-правовых актов субъекта порой сложно вывести перечень задач категории, авторы обращались к положениям о конкретных ООПТ. Однако и здесь имеет место проблема открытости и доступности информации, поскольку положения об ООПТ в актуальной редакции размещены на официальных сайтах далеко не во всех субъектах.

Получается, что если специфика региональных категорий плохо отражена в нормативно-правовых актах, то они начинают напоминать некоторую «общую» категорию ООПТ с наиболее широким спектром выполнимых задач. Такой категорией, как говорилось выше, являются заказники, и действительно, почти 40% региональных категорий можно назвать аналогами заказников. Таким образом, наблюдаемое дублирование в какой-то мере объясняется недостаточно подробной нормативной регламентацией региональных категорий: даже если региональная категория задумывалась как оригинальная, она потеряла свою специфику из-за некачественного регулирования. Следовательно, дублирование как характеристика региональных категорий отчасти связано с низким уровнем юридической техники регионального законотворчества.

¹ Стоит заметить, что такой результат не является чем-то явно сомнительным. Например, большая озелененная территория на северо-востоке Москвы, по экологическим функциям похожая на городской парк, в рамках системы категорий ООПТ является национальным парком «Лосиный остров».

Другой причиной дублирования может быть то, что установление оригинальной региональной категории – объективно непростая задача, требующая наличия научных знаний, практического опыта, специалистов с высоким уровнем компетенции. Необходимые научные ресурсы есть не во всех регионах. Как следствие, даже если в субъекте пытаются установить оригинальную категорию, она в результате нередко оказывается весьма похожей на одну из федеральных и, строго говоря, избыточной. В такой ситуации возникает риск уменьшения уровня охраны окружающей среды: региональная категория может оказаться ухудшенной версией федерального аналога. «Природная рекреационная территория», похожая на природный парк, окажется куда менее защищенной, чем собственно природный парк.

Второй вопрос о дублировании заключается в том, как его оценивать: положительно или отрицательно. На первый взгляд, сказанное выше позволяет рассматривать дублирование при установлении региональных категорий исключительно как негативное явление. Однако отдельные исследователи отмечают, что «совпадение и дублирование» при регулировании экологических отношений имеет не только минусы, но и плюсы (Hollander 2009).

Нужно обратить внимание на то, что в России существует жесткая связь между категориями и видами ООПТ. Например, заповедники бывают только федерального значения, а природные парки – только регионального. При этом нет ни одной федеральной категории местного значения. На международном уровне существует классификация категорий и типов управления, разработанная МСОП. Типы управления похожи на виды ООПТ тем, что выделяются в зависимости от субъекта, который принимает решения в отношении охраняемой территории, обеспечивает её функционирование и несёт ответственность (Dudley 2008: 26). В своей первой версии, изданной в 1994 г., рекомендации МСОП, как и принятый в следующем году российский Закон об ООПТ, предусматривали связь между категориями и субъектом управления (Guidelines... 1994: 12). Однако новая версия классификации, появившаяся в 2008 г., постулирует прямо противоположный подход: *любая категория может относиться к любому типу управления* (Dudley 2008: 10). Иначе говоря, если по российскому законодательству существует связь между категориями ООПТ и субъектом управления, то по стандартам МСОП она в настоящее время отсутствует.

Из табл. 3 следует, что почти у каждой федеральной категории есть аналоги как регионального, так и местного значения. Например, заповедники, которые могут быть только федерального значения, имеют суммарно 27 аналогов регионального или местного значения. Довольно характерная ситуация получилась с памятниками природы: по Закону об ООПТ, они могут быть только федерального или регионального значения, что ранее уже критиковалось специалистами (Хмелева 2009: 55); между тем у памятников природы нет ни одного аналога регионального значения, зато есть девять аналогов местного значения. Получается, что дублирование при установлении региональных категорий решает важную задачу: оно позволяет созда-

вать ООПТ местного значения, по сути относящиеся к пяти федеральным категориям. Тем самым компенсируется избыточная и уже не соответствующая современным международным рекомендациям жесткость федерального законодательства, закрепляющего строгую зависимость между категориями и видами ООПТ. До изменения федерального законодательства такой подход представляется достаточно разумным. Например, в законодательстве субъектов Федерации целесообразно устанавливать аналоги природных парков и заказников, если необходимо обеспечить фактическую возможность создания данных ООПТ на местном уровне.

Помимо данного конкретного положительного обстоятельства можно отметить также, что дублирующие региональные категории теоретически могут играть «предохранительную» роль, защищая от недостатков и негативных изменений законодательства на федеральном уровне. Порой у региональных категорий имеется не менее, а иногда и более качественное и подробное регулирование, чем у федеральных: в законах и подзаконных актах субъектов, в отличие от федеральных нормативно-правовых актов, могут быть четко обозначены цели и задачи, запреты, дозволения и ограничения, определенные для ООПТ данной категории. В такой ситуации субъекты хотя и дублируют федеральные категории, но одновременно повышают уровень правовой охраны ценных территорий (что можно считать частным случаем *race to the top* (Мао 2018: 3)), а также создают «страховку» от негативных изменений федерального законодательства (Hollander 2009: 155).

Завершая обсуждение, следует обратить внимание, что ряд региональных категорий в принципе нельзя отнести к ООПТ – они являются скорее разновидностями иных охраняемых территорий, на что, в частности, обращают внимание М. С. Стишов и Н. Дадли (Стишов, Дадли 2018: 78). Статус ООПТ связан с важностью территории для долгосрочного сохранения биологического разнообразия, уникальных природных объектов, природных ландшафтов, природных комплексов. Однако региональные законодатели наделяют статусом ООПТ местности, в границах которых не расположены уникальные природные объекты, природные ландшафты или природные комплексы, либо местности, функционально не предназначенные для сохранения биологического разнообразия, а также местности, в границах которых действует правовой режим, установленный другими нормативно-правовыми актами экологического законодательства. Например, в соответствии со статьями 2, 3 Закона Калининградской области от 01 марта 2016 г. № 513 «Об особо охраняемых природных территориях», к ООПТ относятся «скверы – озелененные территории, предназначенные для кратковременного отдыха населения» (Закон Калининградской области № 513, 2016: ст. 2, 3). Представленная скупая нормативная основа позволяет утверждать, что указанные территории вряд ли можно назвать ООПТ. Согласно статье 20 Закона Алтайского края от 18 декабря 1996 г. № 60-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае», водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – это ООПТ (Закон Алтайского края № 60-ЗС, 1996: ст. 20). Между тем правовой режим данных территорий определяется статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, и

функциональное назначение данных территорий также не позволяет отнести их к ООПТ (см.: Водный кодекс РФ № 74-ФЗ, 2006: ст. 65). Методика проведенного исследования не позволила количественно учесть такие случаи, но не упомянуть о них нельзя.

С учетом анализа полученных результатов можно выработать общие рекомендации для законодательных органов субъектов Российской Федерации.

Во-первых, региональному законодателю надлежит учитывать федеральное правовое регулирование категорий ООПТ и не допускать необоснованного дублирования. Однако обоснованное дублирование, направленное на компенсацию недостатков федерального законодательства, при определенных условиях целесообразно.

Во-вторых, законодательные органы субъектов Российской Федерации должны принимать во внимание возможность создания ООПТ регионального значения, относящихся к уже существующим федеральными категориям, а также возможность самостоятельно дополнить регулирование четырех федеральных категорий: заказников; природных парков; памятников природы; дендропарков и ботсадов. Данный подход более разумен, нежели создание дублирующей категории с непоследовательным правовым регулированием.

В-третьих, если у регионального законодателя возникает необходимость создать оригинальную категорию, то правовое регулирование также должно быть оригинальным и качественным. Это означает, что законодателем должны быть четко обозначены задачи, которые реализует создаваемая категория, а также определен соответствующий задачам режим охраны.

Заключение. Одним из механизмов, влияющих на эффективность экологической политики в федерациях, является дублирование. Проведенное исследование посвящено одному узкому аспекту дублирования в российском экологическом праве – при установлении категорий ООПТ. Согласно результатам исследования, количество региональных категорий, являющихся аналогами категорий федерального уровня, в девять раз превосходит количество оригинальных региональных категорий. Кроме того, общая степень сходства между региональными и федеральными категориями выше, чем нормальный уровень сходства. Таким образом, среди региональных категорий ООПТ в России преобладает дублирование, а не оригинальность.

Дублирование среди региональных категорий имеет отрицательные и положительные последствия. Дублирование может возникать по двум причинам: во-первых, это низкий уровень юридической техники регионального законотворчества, при котором субъекты Федерации недостаточно подробно прописывают специфику региональных категорий; во-вторых, объективная сложность установления оригинальной категории, из-за чего субъекты напрямую заимствуют правовые конструкции федерального уровня. Дублирование может приводить к снижению качества нормативной регламентации, при котором региональные категории

оказываются ухудшенной версией своих федеральных аналогов. В то же время дублирование является механизмом, компенсирующим излишнюю жесткость федерального законодательства в части связи категорий и видов ООПТ, и здесь система региональных аналогов дополняет федеральные категории. Фактически на основе дублирования выстраивается общая система категорий ООПТ, в которой любая из категорий, предусмотренных федеральным законодательством, может иметь любое значение, то есть управляться на любом уровне публичной власти. Поскольку такое положение дел соответствует современным международным рекомендациям, то можно поставить вопрос о необходимости изменения федерального законодательства. Кроме того, дублирование теоретически может выступать в качестве механизма, предохраняющего от потери ценных природных территорий в случае отрицательного изменения регулирования на федеральном уровне.

Региональным законодателям следует осуществлять более качественную нормативную регламентацию региональных категорий для того, чтобы избежать необоснованного дублирования. При этом обоснованное дублирование – в тех случаях, когда оно способно выполнять роль компенсаторного или защитного механизма, – вполне допустимо. Если региональный законодатель хочет установить действительно оригинальную категорию ООПТ, то ему необходимо обеспечить ее детальное правовое регулирование, чтобы специфика такой категории была очевидна.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Благовидов А., Очагов Д., Птичников А. 2002. Сохранение биоразнообразия лесов России: вклад ООПТ и лесов I группы. Москва : WWF России : МСОП. 108 с.

Хмелева Е.Н. (сост.) 2009. Проблемы законодательства об особо охраняемых природных территориях и предложения по его совершенствованию : (Аналитический обзор законодательства и проект новой редакции Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях») / Е.А. Галиновская, Н.В. Кичигин, О.Н. Кревер, А.С. Шестаков ; сост. Е.Н. Хмелева. Москва : WWF России. 150 с.

Стишов М.С., Дадли Н. 2018. Охраняемые природные территории Российской Федерации и их категории. Москва : Всемирный фонд дикой природы. 248 с.

Dudley N. 2008. Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland. X, 86 p.

Fiorino D.J. 2011. Explaining national environmental performance: approaches, evidence, and implications // Policy Sciences. Vol. 44, iss. 4. P. 367-389.

Fleiss J.L. 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters // Psychological Bulletin. Vol. 76, iss. 5. P. 378-382.

Hollander R. 2009. Rethinking Overlap and Duplication: Federalism and Environmental Assessment in Australia // Publius: The Journal of Federalism. Vol. 40, iss. 1. P. 136-170.

Guidelines for protected area management categories, 1994. Gland ; Cambridge : IUCN. 261 p.

Mao Y. 2018. Decentralization, national context and environmental policy performance: a fuzzy set qualitative comparative analysis // Environmental Science and Pollution Research. Vol. 25, iss. 28. P. 28471-28488.

Millimet D.L. 2013. Environmental Federalism: A Survey of the Empirical Literature. Bonn : Institute for the Study of Labor (IZA). 49 p.

Poloni-Staudinger L.M. 2008. Are consensus democracies more environmentally effective? // Environmental Politics. Vol. 17, iss. 3. P. 410-430.

Sigman H. 2007. Decentralization and Environmental Quality: An International Analysis of Water Pollution. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research. 31 p.

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 2006. 8 июня. URL: <https://base.garant.ru/12147594/> (дата обращения: 07.05.2020).

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм. и доп.) // Российская газета. 1995. 22 марта. URL: <https://base.garant.ru/10107990/> (дата обращения: 07.05.2020).

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. 2011. 7 дек. URL: <https://base.garant.ru/12192462/#friends> (дата обращения: 07.05.2020).

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об особо охраняемых природных территориях” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. 2013. 30 дек. URL: <https://base.garant.ru/70552582/> (дата обращения: 07.05.2020).

Закон Алтайского края от 18 декабря 1996 года № 60-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае» // Алтайская правда. 1996. 26 дек. URL: <https://base.garant.ru/7454072/> (дата обращения: 07.05.2020).

Закон Калининградской области от 01 марта 2016 года № 513 «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм. и доп.) // Калининградская правда. 2016. 17 марта. URL: <https://base.garant.ru/44400000/> (дата обращения: 07.05.2020).

Pavel O. Syomin, Habr LLC, Moscow, Russia.

E-mail: ntsp@ya.ru

ORCID: 0000-0002-4015-9206

SPIN-код: 4247-0428

Julia E. Kiel, Ural State Law University,

Yekaterinburg, Russia.

E-mail: jullia3913@mail.ru

SPIN-код: 8980-5387

Valeriya A. Sinitsina, student of Ural State Law University,

Yekaterinburg, Russia.

E-mail: sinitsina-lera@mail.ru

SPIN-код: 3570-3429

Article received 21.06.2020, accepted 01.10.2020, available online 11.01.2021

Duplication and Originality in Establishing Regional Categories of Specially Protected Natural Territories in Russia

Abstract. In empirical studies of environmental law and policy, an important place is occupied by the issue of the underlying mechanisms that determine the relationship between territorial state structure and environmental performance. Duplication is among such mechanisms in the federations, including Russia. This paper addresses a specific aspect of the problem, i. e. the duplication in the establishment of regional categories of specially protected natural territories. The goal of the research is to determine the combination of originality and duplication among regional categories and to provide a legal interpretation of the observed phenomena. The objectives are (1) to collect a database of legal information about all regional categories; (2) to compare each federal category with each regional category and to find out whether the given regional category is original or duplicated; and (3) to aggregate the results of the comparison and make their legal interpretation. The main method of the study is a comparison made with a special quantitative technique. Additional methods are analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction. Also, a few methods of statistical data analysis are used. As a result of the research, it is determined that duplication among regional categories in Russia often prevails over originality, and the median level of similarity between federal and regional categories is higher than the normal level of similarity. Most likely, part of the duplication results is explained by the fact that regional legislators do not sufficiently regulate the specifics of regional categories. Duplication has negative and positive consequences; i. e. it could result in lax legal protection of valuable territories, but it also could act as a compensatory mechanism overcoming the drawbacks of the federal regulation, and as a safeguard against negative changes of federal legislation. Thus, it may be proved that duplication could be unreasonable or justified. The regional legislators should avoid unreasonable duplication and regulate in detail the specifics of regional categories.

Keywords: specially protected natural territories; categories of specially protected natural territories; kinds of specially protected natural territories; governance types of protected areas; comparison of categories; federalism; regional legislation; duplication; statistical analysis; empirical legal studies.

For citation: Syomin P.O., Kiel J.E., Sinitsina V.A. *Dublirovaniye i original'nost' pri ustanovlenii regional'nykh kategoriy osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriy v Rossii* [Duplication and Originality in Establishing Regional Categories of Specially Protected Natural Territories in Russia], *Antinomii=Antinomies*, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 143–163. DOI 10.24411/2686-7206-2020-10408. (in Russ.).

References

Blagovidov A., Ochagov D., Ptichnikov A. *Sokhraneniye bioraznoobraziya lesov Rossii: vklad OOPT i lesov I gruppy* [Conservation of Biodiversity of Russian forests: contribution of Specially Protected Natural Territories and of Forests of 1st Group], Moscow. WWF Rossii, MSOP, 2002, 108 p. (in Russ.).

Galinovskaya E.A., Kichigin N.V., Krever O.N., Shestakov A.S., Khmeleva E.N. (comp.) *Problemy zakonodatel'stva ob osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh i predlozheniya po ego sovershenstvovaniyu : (Analiticheskiy obzor zakonodatel'stva i projekt novoy redaktsii Federal'nogo zakona «Ob osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh»)* [Problems of Legislation on Specially Protected Natural Territories and Proposals for its Improvement (An Analytical Review of the Legislation and a Draft of the New Edition of Federal Law “On Specially Protected Natural Territories”)], Moscow, WWF Rossii, 2009, 150 p. (in Russ.).

Stishov M.S., Dadli N. *Okhranyaemye prirodnye territorii Rossiyskoy Federatsii i ikh kategorii* [Protected Natural Areas of Russia and their Categories], Moscow, Vsemirnyy fond dikoy prirody, 2018, 248 p. (in Russ.).

Vodnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 3 iyunya 2006 goda № 74-FZ (s izm. i dop.) [Water Code of the Russian Federation dated June 3, 2006 No. 74-FZ (as amended and supplemented)], *Rossiyskaya gazeta*, 2006, 8 June, available at: <https://base.garant.ru/12147594/> (accessed May 07, 2020). (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 14 marta 1995 goda № 33-FZ «Ob osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh» (s izm. i dop.) [Federal Law of March 14, 1995 No. 33-FZ “On Specially Protected Natural Areas” (as amended and supplemented)], *Rossiyskaya gazeta*, 1995, 22 March, available at: <https://base.garant.ru/10107990/> (accessed May 07, 2020). (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 30 noyabrya 2011 goda № 365-FZ «O vnesenii izmeneniy v Federal'nyy zakon “Ob osobykh ekonomicheskikh zonakh v Rossiyskoy Federatsii” i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiyskoy Federatsii» (s izm. i dop.) [Federal Law of November 30, 2011 No. 365-FZ “On Amendments to the Federal Law ‘On Special Economic Zones in the Russian Federation’ and Certain Legislative Acts of the Russian Federation” (as amended and supplemented)], *Rossiyskaya gazeta*, 2011, 7 Dec., available at: <https://base.garant.ru/12192462/> (accessed May 07, 2020). (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 28 dekabrya 2013 goda № 406-FZ «O vnesenii izmeneniy v Federal'nyy zakon “Ob osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh” i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiyskoy Federatsii» (s izm. i dop.) [Federal Law of December 28, 2013 No. 406-FZ “On Amendments to the Federal Law ‘On Specially Protected Natural Areas’ and Certain Legislative Acts of the Russian Federation” (as amended and supplemented)], *Rossiyskaya gazeta*, 2013, 30 Dec., available at: <https://base.garant.ru/70552582/> (accessed May 07, 2020). (in Russ.).

Zakon Altayskogo kraya ot 18 dekabrya 1996 goda № 60-ZS «Ob osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh v Altayskom krae» [Law of the Altai Territory of December 18, 1996 No. 60-3C “On Specially Protected Natural Areas in the Altai Territory”], *Altayskaya pravda*, 1996, 26 Dec., available at: <https://base.garant.ru/7454072/> (accessed May 07, 2020). (in Russ.).

Zakon Kaliningradskoy oblasti ot 01 marta 2016 goda № 513 «Ob osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh» (s izm. i dop.) [Law of the Kaliningrad Region of March 01, 2016 No. 513 “On Specially Protected Natural Areas” (with amendments and additions)], *Kaliningradskaya pravda*, 2016, 17 March, available at: <https://base.garant.ru/44400000/> (accessed May 07, 2020). (in Russ.).

Dudley N. *Guidelines for Applying Protected Area Management Categories*, Gland, Switzerland, 2008, x, 86 p.

Fiorino D.J. Explaining national environmental performance: approaches, evidence, and implications, *Policy Sciences*, 2011, vol. 44, iss. 4, pp. 367-389.

Fleiss J.L. Measuring nominal scale agreement among many raters, *Psychological Bulletin*, 1971, vol. 76, iss. 5, pp. 378-382.

Hollander R. Rethinking Overlap and Duplication: Federalism and Environmental Assessment in Australia, *Publius: The Journal of Federalism*, 2009, vol. 40, iss. 1, pp. 136-170.

Guidelines for protected area management categories, Gland, Cambridge, IUCN, 1994, 261 p.

Mao Y. Decentralization, national context and environmental policy performance: a fuzzy set qualitative comparative analysis, *Environmental Science and Pollution Research*, 2018, vol. 25, iss. 28, pp. 28471-28488.

Millimet D.L. *Environmental Federalism: A Survey of the Empirical Literature*, Bonn, Institute for the Study of Labor (IZA), 2013.49 p.

Poloni-Staudinger L.M. Are consensus democracies more environmentally effective?, *Environmental Politics*, 2008, vol. 17, iss. 3, pp. 410-430.

Sigman H. *Decentralization and Environmental Quality: An International Analysis of Water Pollution*, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research, 2007, 31 p.

Требования к авторам

1. Автор отправляет на редакционную почту admin@instlaw.uran.ru рукопись статьи в электронном варианте в формате .doc.

2. Статьи должны соответствовать тематике журнала: философия, политическая наука, право. Принимаются рукописи только ранее не опубликованных, оригинальных статей. Статьи представляются на русском языке.

3. В случае несоответствия тематике и требованиям к оформлению материалы не принимаются к рассмотрению, автору направляется соответствующее уведомление.

4. Принятые к рассмотрению материалы проходят двойное слепое рецензирование: имена автора и рецензентов не раскрываются друг другу. К рецензированию привлекаются как члены редакционной коллегии и международного редакционного совета, так и внешние эксперты – специалисты по проблематике представленной статьи. Если мнения двух рецензентов принципиально расходятся, редакция привлекает третьего рецензента или принимает решение самостоятельно. Срок рассмотрения статей – не более 2-х месяцев с момента поступления рукописи в редакцию.

5. По результатам рецензирования статья может быть принята к печати, направлена автору на доработку или отклонена. В случае принятия к печати статья пополняет редакционный портфель, из материалов которого редколлегия комплектует ближайшие номера журнала.

6. Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. Редакция направляет авторам рукописей отзывы рецензентов или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и образования Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

7. Рекомендуемый объем статьи – 40–60 тысяч знаков (с пробелами). Шрифт (гарнитура) Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала, текст должен быть отформатирован по ширине без переносов, абзацный отступ – 1 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. При использовании в тексте кавычек применяют типографский вариант («»). Тире обозначается символом «–» (среднее тире); дефис «-».

8. Все иллюстрации, графики, таблицы и рисунки должны иметь последовательную нумерацию, название; быть включены как в основной файл статьи, так и представлены отдельными файлами.

9. Название статьи форматируется по центру, выделяется полужирным шрифтом, 14 кеглем, все буквы прописные. В правом верхнем углу над названием статьи указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, занимаемая

должность, место работы, электронная почта. В левом верхнем углу указывается код УДК.

После названия приводится аннотация статьи, раскрывающая ее гипотезу, основные положения и выводы. Объем аннотации не менее 2000 знаков с пробелами. После аннотации статьи приводится список ключевых слов (5–10).

10. Внутритекстовые ссылки оформляются в круглых скобках, в которых указываются фамилия (фамилии) автора или составителя (главного или ответственного редактора), или основное заглавие (если авторство нельзя установить), далее через пробел указывается год издания, затем через двоеточие – страницы цитаты, либо статьи правового акта, на который ссылается автор. Например: (Булгаков 1994: 203-204).

11. Библиографический список представлен двумя блоками – Списком литературы и References.

В Списке литературы указываются научные источники, первоначально авторские работы на русском языке в алфавитном порядке, затем источники на иностранных языках. При наличии нескольких источников одного автора, вышедших в одном календарном году, данная группа записей располагается по алфавиту заглавий, а к цифровому обозначению года добавляются строчные буквы латинского алфавита – a, b, c, d, что отражается и во внутритекстовых ссылках.

References – список литературы, где источники на кириллице даны в транслитерации и в переводе на английский язык (фамилия автора, название журнала, сборника – в транслитерации; заглавие монографии или статьи, место издания – в переводе), английские источники приводятся без изменений. Источники на иных языках также даются в переводе на английский язык. Весь массив записей располагается в алфавитном порядке.

При ссылке на книги указывается количество страниц в книге. При ссылке на статью указывается диапазон страниц (например: С. 13-29).

12. К статье должны быть приложены переводы на английский язык: имени и фамилии автора; должности и места работы; контактной информации; названия статьи; аннотации и ключевых слов.

13. Одобренные редакционной коллегией материалы публикуются бесплатно, гонорары авторам не выплачиваются.

14. К представленной в редакцию рукописи автор прилагает письменное согласие на размещение опубликованной в журнале статьи в электронных базах данных; письменное согласие на опубликование персональных данных.

Более подробно с требованиями к авторам и примерами оформления рукописей можно ознакомиться на сайте журнала по адресу: <http://yearbook.uran.ru/avtoram/trebovaniya-k-statiam>

Manuscript conditions

1. Manuscript in doc. format should be sent to the editorial board's email admin@instlaw.uran.ru.

2. Manuscript submitted to the Journal should relate to Journal's subject areas, which include philosophy, political science and law.

3. Previously published papers are unacceptable.

Manuscripts should be submitted in Russian only.

4. If the paper doesn't comply with the subject-matter of the Journal or formal requirements it excludes from further consideration, the author is notified about it.

5. Every manuscript submitted to the Journal is a subject for double-blind review, which means that the identities of reviewers are concealed from the author, and vice versa. Reviewers are experts in the same subject area as the paper submitted. The paper is assigned for reviewing to experts, who are members of the editorial board or the international editorial council, as well as to independent experts. If the first reviewer accepts the paper, while the second reviewer rejects it, the paper will be passed for evaluation to the third reviewer or the decision on acceptance or rejection will be made by the editorial board itself. The procedure for review and approval of papers takes no more than two months.

After reviewing the article may be accepted for publication, sent to the author for revision or rejected. If accepted for publication the paper is placed in the portfolio of editorial board for further publication.

6. The editorial board retains reviews during 5 years. If needed, the editorial board sends reviews or notes of reasoned refusal to the authors. If requested, the editorial board sends copies of reviews to the Ministry of science and education of the Russian Federation.

7. The Journal normally publishes papers between 40000 and 60000 characters in length (with spaces). The texts should be typed using Times New Roman, font size 14, 1.5 spaced, justified alignment, 1 cm. paragraph indention, 3 cm. left margin, 1,5 cm. right margin, 2 cm. top and foot margins. French quotation marks «», dash «-», hyphen « - » should be used in the text.

8. Illustrations, diagrams and tables should be numbered and named. Illustrations, diagrams and tables should be both placed within the text of the manuscript and provided in a separate file.

9. Titles of papers should be centered, capitalized, semi-bold and typed using Times New Roman, font size 14. The author's personal data (full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail) should be placed in the top-right corner above the title of the manuscript. UDC, if possible, should be placed in the top-left corner of the manuscript.

The abstract should be placed below the paper's title and be no less than 2 000 characters (with spaces). It should summarize the hypothesis and key results presented in the paper. From 5 to 10 keywords are also required.

10. References should be placed within the text in round brackets (). In-text references should include the author's last name or the editor's last name, or the title of the source (for sources with no author named), as well as the year of publication and page reference (or article of the normative legal act). Example: (Jameson 2009: 167).

11. After-text bibliography includes the List of sources and References.

The List of sources should be composed alphabetically. It should be organized in the following order: sources in Russian (books and articles); sources in foreign languages (books and articles). If there are two or more sources by the same author in the same year, lower-case letters (a, b, c, d) with the year should be used. The lower-case letters with the year should be added to the in-text references as well.

References is the List of sources which should be transliterated and translated into English (author's last name, title of the journal or collection should be transliterated; title of the monograph or article, and the place of publication should be translated into English). Titles in other languages should be translated into English as well. List of References should be alphabetized.

Description of books and articles listed in after-text bibliography should contain number of pages, while description of articles should contain page ranges. Example: P. 13-29.

12. The author should also submit a separate file containing the following information in English: full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail, as well as title of the paper, abstract and keywords.

13. Publication of accepted papers is free of charge. Honorarium is not paid to the author.

14. In addition to the manuscript, the author provides written consent to display published paper in the electronic databases, as well as written consent to make public his/her personal data.

More detailed information for authors as well as samples of papers, abstracts et al. are provided at the Journal's website: <http://yearbook.uran.ru/en/for-authors/accepted-papers>

Научное издание

АНТИНОМИИ

Том 20

Выпуск 4

*Рекомендовано к изданию
Ученым советом Института философии и права
Уральского отделения РАН*

Ответственные за выпуск
В.С. Мартьянов, В.В. Руденко

Редактор *Н.М. Юркова*
Корректор *Е.М. Олову*
Компьютерная верстка *А.Э. Якубовского*
Дизайн обложки *Е. Ширяевой, «РА4»*

Подписано в печать 21.12.2020 г. Формат 70x100/16
Бумага типографская.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 8,4 Уч.-изд. л. 13,6
Тираж 500 экз. Заказ №

Институт философии и права УрО РАН
620108, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16.

Изготовлено ООО «Издательство УМЦ УПИ»
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 17, офис 134.